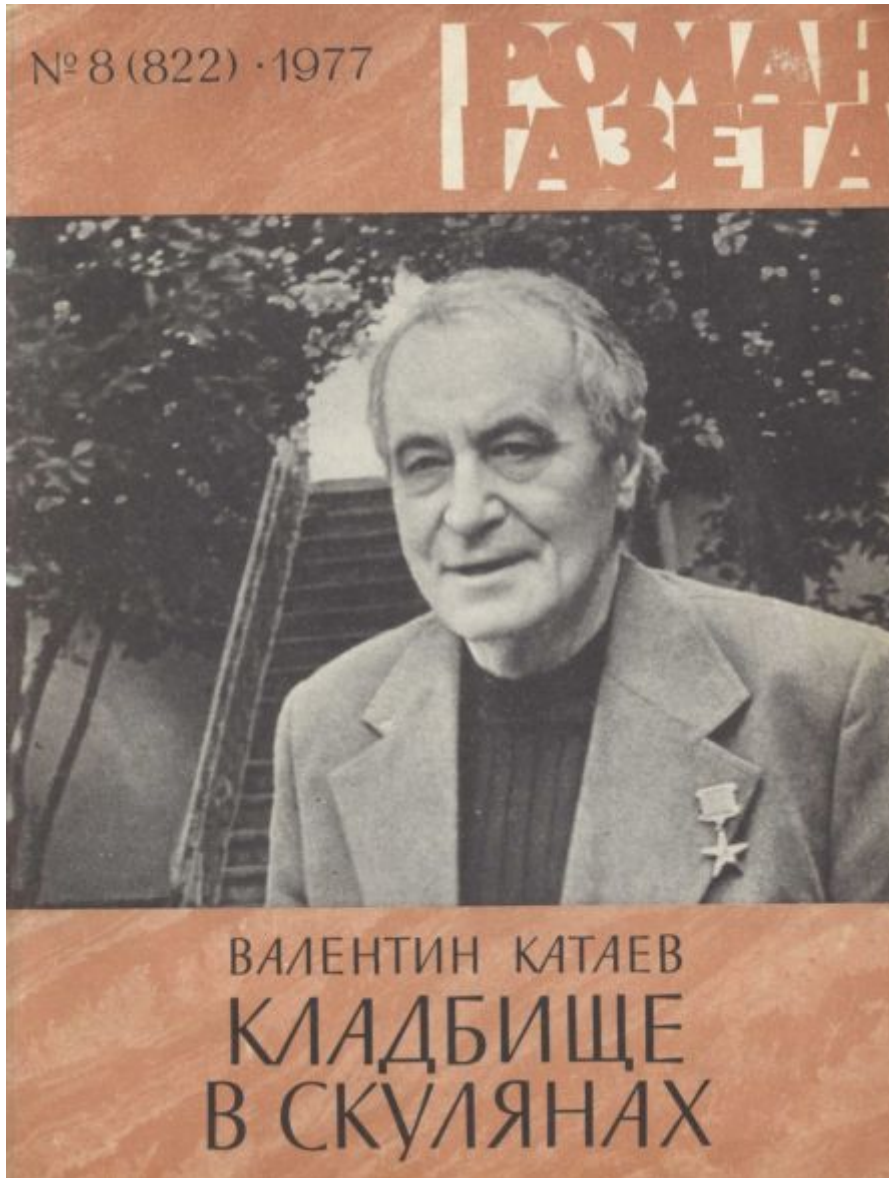


Кладбище в Скулянах-Валентин Катаев



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Кладбище в Скулянах

Я умер от холеры на берегу реки Прут, в Скулянах, месте историческом. Моя жена Марья Ивановна хлопотала возле меня вместе с несколькими девушками-цыганками, нашими крепостными.

Будучи по природе и по воспитанию женщиной расчетливой, Марья Ивановна в этом случае не пожалела лучших простынь из тонкого голландского полотна, с крупными метками, собственноручно вышитыми ею гладью. Из этих простынь она смастерила нечто вроде стеганого одеяла, насыпав в него раскаленной пшеницы.

Я чувствовал тяжесть этого покрывала, но мое холодеющее тело уже не ощущало ожогов, из чего я понял, что пришла смерть.

Марья Ивановна, имевшая привычку по всякому пустяку ломать руки и восклицать «о майн гот!», на сей раз проявила особую, молчаливую сдержанность. С педантической энергией она исполнила все предписания

военного лекаря, присланного моим другом, командиром прутского полубатальона карантинной стражи, а также советы, вычитанные в домашнем лечебнике, потрепанной книге чуть ли не петровских времен, оставшейся в наследство от моих предков.

Меня раздражал беспорядок, произведенный моей болезнью: подсов, в который мне приходилось поминутно испражняться, фаянсовый кувшин, расписанный цветочками, стоявший на полу посредине комнаты, тазы, лужи воды, едкий дым горящей серы, которым окуривали весь наш обширный дом.

Меня бесило, что я сам был причиной беспорядка, которого на старости лет не переносил.

Сознание уплывало от меня, но я еще различал предметы: большой молдавский ковер на стене, на нем саблю, пороховницы, два скрещенных пистолета и мою гордость — дорогую трофейную лядунку из черной лакированной кожи с золотым накладным вензелем императора Наполеона — латинская буква «N», окруженная лавровым венком. Эту лядунку я содрал с французского офицера, взятого мною в плен во время Отечественной войны 1812 года под Грубешовом.

Мне бы хотелось перед смертью благословить моих детей, но никого из них не было в Скулянах: три сына, Александр, Яков и самый младший, мой любимец Ваня, учились в Ришельевском лицее в Одессе, старшая дочь Елизавета, недавно окончившая с шифром Смольный институт в Санкт-Петербурге, уже вышла замуж за полтавского предводителя дворянства и жила в Полтаве своим домом, а младшая, Анастасия, гостила у знакомых в Кишиневе, так что мы с Марьей Ивановной оставались дома одни.

Я посмотрел как бы сквозь туман на свою Марью Ивановну в ее синем домашнем платье, в накрахмаленном чепце, на ее длинное морщинистое лицо с поблекшими голубыми глазами и вспомнил ее той прелестной шестнадцатилетней девушкой, которая ухаживала за мной в то далекое время, когда я лежал у них в старинном домике под красной черепицей в Гамбурге, залечивая свои раны. Тогда я не чаял выжить, но семья пастора Крегера меня выходила. В особенности старалась милая Марихен. Мы полюбили друг друга, и по выздоровлении я увез ее в Молдавию, где она стала моей женой, хозяйкой большого имения.

Я был в семейной жизни человеком строгих правил, и, наверное, Марье Ивановне было не всегда легко со мной ладить, но она стойко переносила мой характер, и теперь, умирая, я вдруг почувствовал к ней жалость и прежнюю любовь, ослабевшую со временем.

Мысли мои стали все больше и больше путаться.

Мне вдруг представилось, что я вижу наяву своего любимого Ванечку таким, каким он был шести или семи лет. Он будто бы стоял у притолки, белокурый, голубоглазый, лицом в мать, в красной шелковой рубашечке, подпоясанный молдавской вышитой тесемкой, и будто слезы текли из его испуганных глаз.

Я захотел благословить это видение, но у меня уже не было мочи поднять руку и сложить окостеневшие пальцы для крестного знамения. Я хотел сказать, что завещаю Ванечке мой сафьяновый портфель, где хранилась тетрадка с неоконченными записками, которые я начал незадолго перед смертью, о турецкой кампании и о достославном походе 1812 года, послужной список, а также коробочку, где под стеклом хранился мой единственный боевой орден Владимира четвертой степени с бантом.

Конечно, я заслужил большего: мне следовал бы Георгиевский крест, — но у меня был несносный характер, я постоянно спорил с начальством, самовольничал, и, естественно, меня обошли.

Георгиевский крестик пролетел мимо...

И даже теперь, лежа на смертном одре, я не мог примириться с этой обидой.

Я надеялся, что Ваня когда-нибудь прочтет мои записки и, может быть, предаст их гласности, и тогда все поймут, что я заслужил более, чем Владимира четвертой степени, хотя и этот орден был очень почетен, но, конечно, Георгиевский крест был куда выше!

Меня тревожило, удастся ли Ване разобрать мой почерк: до старости лет я так и не научился как следует чинить гусиные перья, которыми принято было писать. Я не умел достаточно остро срезать перочинным ножиком кончик пера и расщепить его. Для меня, как для военного человека, привыкшего действовать пистолетом и саблей, искусство чинить гусиные перья казалось недостижимым, и мне всегда было удивительно, как это хорошо удавалось, например, Пушкину, умевшему столь быстро, четко, изящно и тонко писать гусиным пером.

Перья наших молдавских свойских гусей, которые я употреблял для писания своих мемуаров, были худшего сорта, чем те, которые употреблял Пушкин. Может быть, их ему присылал Вяземский из Санкт-Петербурга.

Жаркий, тлетворный ветер пробежал по осоке и тальнику в пойме пограничной реки Прут. Граница по случаю холеры была закрыта. Шлагбаумы опущены. На мачте кордона развевался зловеющий желтый карантинный флаг. Многие жители в страхе покидали Скуляны.

Изредка стреляла сигнальная пушка.

Марья Ивановна поднесла к моим губам зеркало. Оно не замутилось, я уже не дышал. Но мои стекленеющие глаза еще видели — или мне казалось, что они видят, — отражение моего мертвенно-белого лица с отросшими седыми усами, небритым подбородком с сабельным шрамом и висками, зачесанными вперед, по моде достопамятного двенадцатого года.

Подобно любой живой или неживой форме существования, я не имею ни начала, ни конца. Как все в природе, я бесконечен. Мое начало, так же как и мой конец, может быть только условно. Начать себя я могу как угодно: с равным правом с мига моего рождения или с мига смерти любого из моих предков.

Впрочем, даже это неточно, потому что, если разобраться, все живые существа в мире в равной степени и мои предки и мои потомки.

Я существую в так называемом времени, которое так же, как и я сам, бесконечно.

Умерев, я просто соединился с бесконечным миром элементарных частиц, как об этом стало принято считать в науке через сто лет после меня.

Священник опоздал и не успел меня исповедать и причастить. Я уже был что называется мертвец. Но так как смерть оказалась всего лишь одной из форм жизни, то мое существование продолжалось и дальше, только в другом виде.

Мои похороны были поспешны. Могильщики в холерных балахонах наскоро вырыли могилу. Под пение хора и звон погребального колокола меня вынесли из маленькой старинной церкви, сохранившейся со времен прутского похода Петра.

Я лежал, зашитый в холстину, в просмоленном гробу, окруженный облаками росного ладана, который не мог заглушить запаха карболки. Меня опустили в глубь могилы и засыпали негашеной известью. Народу было мало, но командир прутского полубатальона карантинной стражи, полковник Н., явившийся в парадной форме, с кивером на согнутом локте, стоял рядом с моей вдовой, прижимавшей к носу кружевной платок, пропитанный ароматическим уксусом.

Следом за ней полковник бросил на крышку гроба ком сухой земли с пучком полыни, а затем вытер замшевой перчаткой слезы со своих выпуклых глаз в красных прожилках.

Как все пожилые военные, он был несколько сентиментален.

Свято соблюдая православные обычаи, Марья Ивановна положила на могильный холм самое большое блюдо из нашего саксонского сервиза, который некогда было очень хлопотно везти из Гамбурга в Бессарабию, через потревоженные недавней войной европейские земли.

На саксонском блюде была насыпана горка колива, то есть рисовой каши, засыпанной сахарной пудрой и обложенной разноцветными мармеладками.

Черпая серебряной ложкой с нашей фамильной монограммой, Марья Ивановна стала, расчетливо оделять коливом кладбищенских нищих, подставлявших свои потертые бараньи шапки.

Время окончательно потеряло надо мной свою власть. Оно потекло в разные стороны, иногда даже в противоположном направлении, в прошлое из будущего, откуда однажды появился родной внук моего сына Вани, то есть мой собственный правнук, гораздо более старший меня по летам. Едва его ноги зашаркали по сухой полыни скулянского кладбища, по изъеденным маленькими улитками, выветрившимся, почерневшим мраморным или известняковым плитам, ушедшим глубоко в землю, как наше бытие — его и мое — соединилось, и уже трудно было понять, кто я и кто он.

Кто правнук и кто прадед?

Я превратился в него, а он в меня, и оба мы стали некоторым единым существом. Наше общее бытие совершалось по новым, еще не открытым, неведомым законам.

Едва машина сошла с асфальтового шоссе и щебенка зацелкала по крыльям и стеклам «Волги», давая понять, что мы едем по грейдеру, и как только за нами поднялось облако белой бессарабской пыли, знакомой мне с детства, и с одной стороны вдоль дороги потянулась желтая, созревшая кукуруза с волосатыми початками, а с другой стороны — пойма пограничной реки Прут, поросшая тростником и лесом, сквозь который тускло блестела вода, как я почувствовал сердечное волнение, будто бы после бесконечно долгого отсутствия увидел знакомые места. Подобное состояние я уже испытал однажды, когда летел низко над дымящейся молдавской землей.

Я сидел на заднем сиденье спиной к спине летчика и, прижав к плечу приклад крупнокалиберного пулемета, всматривался в облачное небо ранней весны, где примерно на уровне нашего хвоста летели неровной цепью аисты-черногузы, возвращавшиеся на родину из Египта.

В случае, если бы в поле моего зрения появился вражеский самолет, я должен был стрелять. Перед собой я видел киль нашего штурмовика и опасался, что, когда придется открыть огонь, я могу в него случайно попасть. Перед вылетом я поделился своими опасениями с пилотом, но он, усмехнувшись, сказал:

— Авось не попадете.

Я был военным корреспондентом.

Разогнав стадо баранов, пасшихся на лугу, мы поднялись в воздух. Мы мчались совсем невысоко над охваченной пожарами местностью, которую, сидя спиной к движению, я мог видеть лишь в те мгновения, когда наш штурмовик делал крутой вираж или резко уходил вверх. Тогда я видел сельские дороги, забытые вражескими обозами, людей, бегущих врассыпную, застрявшие в грязи немецкие тяжелые орудия, брошенные грузовики, рассыпанные снаряды, мешки, ящики.

Когда мы круто развернулись над излучиной Прута, беря курс на Яссы, покрытые шапкой дыма, я посмотрел через левое плечо и на миг как бы повис лицом вниз над Скулянами, над их горящими домами и мельницами.

Особенно мне запомнилась ветряная мельница с охваченными огнем вращающимися крыльями.

Посреди огня и дыма белела старинная церковь, каким-то чудом не тронутая пожаром, и вокруг нее кладбище. Тогда я еще не знал, что моя судьба каким-то образом связана с этим местом в юго-западном углу нашего громадного отечества. Тогда я еще не знал, что именно здесь, на древнем погосте времен Кантемира, похоронен мой прадед.

Я мало интересовался своей родословной, не придавая ей никакого значения, и лишь на старости лет, когда в мои руки попали некоторые бумаги прадеда и деда, чудом уцелевшие после всех превратностей революций и войн, я сначала без особой охоты стал их разбирать, а потом увлекся.

Среди бумаг наибольший интерес представляли записки моих деда и прадеда. Записки деда в подлиннике и записки прадеда в копии, снятой уже гораздо позже одной из многочисленных дочерей деда, то есть моей теткой.

Наверху листа плотной канцелярской бумаги с водяными знаками четким, так называемым бисерным женским почерком было выведено заглавие:

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея (1783–1848)».

Дальше значилось:

«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алексеевича Бачея. Среди этих бумаг оказалась небольшая тетрадка старинной желтой бумаги, на первом листе которой рукой нашего отца написано: „Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в которых он сам участвовал“.

„С большим трудом читается написанное старинным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее

становится рассказ, обрывающийся, к сожалению, на 1813 году. Сведения о дальнейших военных подвигах деда в кампании 1813 и 1814 гг. мы знаем из документов и рассказов покойного отца“.

Так как это предисловие датировано 1911 годом, то можно предположить, что в преддверии празднования столетия Отечественной войны двенадцатого года семья покойного дедушки решила предать гласности участие прадеда в этой великой войне, принесшей такую славу России.

Однако никаких документов на этот счет я больше не обнаружил, а рассказов покойного дедушки о своем отце, герое Двенадцатого года, не слышал, так как он умер, когда мне было едва ли два года.

...приходится довольствоваться тем немногим, что сохранилось в заветном сафьяновом портфеле.

Но прежде чем заняться записками прадеда, чего своевременно не сделал его любимый сын Ваня — мой дедушка, — мне захотелось познакомиться с воспоминаниями самого дедушки, находившимися, по-видимому, в том же самом сафьяновом портфеле и попавшими в мои руки в виде нескольких разрозненных тетрадок, исписанных уже не гусиным пером, а стальным, отчего, впрочем, почерк деда не стал разборчивее, чем почерк прадеда.

Я нашел среди упомянутых тетрадок несколько вырванных страниц, написанных другим почерком, более четким: видимо, незадолго до смерти дедушка диктовал это кому-нибудь из своих дочерей, которых, кстати сказать, было не то восемь, не то девять, а на специально оставленных полях собственноручно делал вставки и примечания карандашом, слабой рукой и очень неразборчиво: я потратил много усилий, чтобы прочитать их, разгадывая, некоторые слова и отдельные буквы, имевшие непривычные для моего теперешнего глаза очертания, иногда даже напоминающие скорее нотные значки, чем буквы.

Будучи уже сам очень старым человеком, во всяком случае, намного старше своего деда и своего прадеда, я купил увеличительное стекло и читал при его помощи. В стеклянных недрах, при свете довольно сильной настольной электрической лампы, микроскопические насекомые дедовских букв вдруг выростали до огромных размеров и плыли перед глазами, окруженные пылающим ореолом.

„Родился я 23 мая 1835 г. на берегу реки Прут в Бессарабской области (губернии), в м. Скуляны, на границе с Молдавией, ныне Румынией“.

На полях карандашом:

„Отец мой капитан Елисей Алексеевич за ранения вышел в отставку 36 лет от роду, происходил из дворян Полтавской губернии, мать — немка из Гамбурга, с которой отец познакомился по взятии Гамбурга от французов в 1814 году, а в 1818 году вышел в отставку“.

Стало быть, отец моего прадеда, то есть мой прапрадед, происходил из дворян Полтавской губернии и, можно предположить, как об этом гласит семейная легенда, был запорожцем, сечевиком, может быть, даже гетманом. После ликвидации Запорожской Сечи он был записан в полтавские дворяне.

Раненый русский офицер, помещенный для лечения на постой в бюргерскую квартиру занятого города, женится на своей сиделке, молоденькой хорошенькой дочке хозяина, — вещь весьма обычная для того времени. Известно, что нечто подобное случилось во время Отечественной войны 1812 года с поэтом Батюшковым, о чем я в юности сложил стихотворение:

„Любезный друг, я жив, и богу известно, как остался жив, простреленный навывлет в ногу и лавры брани заслужив. Перетерпел и боль и голод, походов зной, ночлегов холод, я — в Риге. Рок меня занес в гостеприимные покои, и я в бездейственном покое здесь отдыхаю среди роз. Ах, Гнедич, ежели б ты знал: не в битвах, не в походах счастье. Кто жар любви не испытал, не ведал трепет сладострастья, безумец! — жизни тот не знал. Познавши сих восторгов сладость, я пью из полной чаши радость. Прощай, пришли стихи свои, твой стих душе моей чудесен, ты знаешь — богу нежных песен сродни крылатый бог любви. Прощай. Устал мараить. Пиши“ — так, изливая жар души, из Риги в Петербург далекий влюбленный Батюшков писал. Текли восторженные строки, и „томный жар“ в слезах блистал... Меж тем, не зная, что зима готовит горькую разлуку, „она“ смотрела через руку на строчки милого письма».

Из этого можно заключить, что Батюшкову удалось избежать, как тогда привыкли выражаться, «цепей Гименея» и благополучно улизнуть от своей немочки, чего нельзя сказать о моем прадеде.

В письме одной из моих сентиментальных теток, занимавшейся семейной хроникой, написано:

«...у пастора Крегера была дочь Мария 16 лет, которая, ухаживая за молодым раненым офицером, сильно полюбила его. Молодой человек, в свою очередь, тоже не был равнодушен к Марии. Молодые люди, не желая расставаться друг с другом, испросив разрешения у родителей Марии и получив от них согласие на брак, отправились на лошадях в далекую, неведомую для молодой женщины Россию, в Бессарабию, где находилось имение ее мужа. Мария перешла в православие и больше ни своей семьи, ни своей родины уже никогда не видела».

Воображение живо нарисовало мне это романтическое свадебное путешествие на почтовых из Гамбурга до Скулян, через города Восточной Европы, потревоженной недавним нашествием наполеоновских армий, ночевки на постоялых дворах и так далее...

Название Скуляны — самая фонетика этого слова — возбудило в моем сознании представление о чем-то некогда хорошо мне знакомом, но забытом, как музыкальная фраза, которую иногда бывает трудно восстановить в памяти. Я готов был поручиться, что никогда не бывал в Скулянах. Тем не менее при самом звуке этого слова возникала неясная, романтическая картина, с трудом различимая в тумане прошлого.

Но вот однажды, перечитывая Пушкина, я обратил внимание на заключительную фразу повести «Выстрел»:

«Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».

Так вот оно что!

Что же это было за сражение под Скулянами?

Я стал один за другим перелистывать синие томики Пушкина, его заметки, рассказы, письма.

Вот несколько слов из письма Вяземскому:

«Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном».

Нетрудно представить молодого опального поэта, увлеченного романтикой Гетерии, борьбы за освобождение Греции, вдыхающего ветер Свободы, пронесшийся над дунайскими княжествами, над живописными холмами и кодрами Молдавии. Его увлекли характеры инсургентов. Кажется, он сам готов был, подобно Байрону, поднять оружие за свободу, в сущности, чуждой ему Греции — только потому, что в те дни Греция была символом свободы.

Пушкин долго не мог забыть молдавские впечатления. Через десять или двенадцать лет после кишиневского изгнания он написал одну из самых своих зрелых и изящных прозаических вещей — повесть о некоем болгарском разбойнике Кирджали, в которой также упоминаются Скуляны:

«Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, болгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута, и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился, и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которою гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд...»

Будучи правнуком прадеда, очевидца этих событий, я с особым удовольствием читал «Кирджали», беря на веру все, что написал Пушкин.

Однако в качестве прадеда своего правнука — то есть меня, что, в сущности, по сравнению с вечностью одно и то же, — я не считал картину, написанную Пушкиным, вполне достоверной: вряд ли картечь могла перелететь через очень широкую пойму Прута и вряд ли начальник карантина мог слышать ее жужжание. Сомневаюсь также, чтобы старичок, сорок лет служивший в армии, отроду не слыхивал свиста пуль, — даже

если предположить, что они залетали на наш берег. Время было военное, Россия вела несколько войн; все ее офицеры были люди обстрелянные. Во всяком случае, мой приятель (тот самый, который присутствовал на моем погребении), командир прутского полубатальона карантинной стражи полковник Н., был боевой офицер, дравшийся с турками, а потом и с войсками Наполеона. Во время достопамятного сражения под Скулянами между греческими повстанцами и турками наш карантинный полубатальон был приведен в боевую готовность. Довольно равнодушно к сражению отнеслись жители Скулян на противоположном берегу Прута, и лишь моя супруга Марья Ивановна, бывшая в это время на сносях, так перепугалась, что спряталась в погреб, где у меня были закопаны в песок заветные бутылки «клик», и едва там не родила нашего второго ребенка, Яшу. Я вывел ее из погреба чуть ли не силой и сделал шуточный выговор: она, видимо, забыла, что пережила осаду Гамбурга, слышала грохот французской артиллерии маршала Даву и при этом все время держала себя молодцом.

В остальном Пушкин был верен истории.

Вот в каком живописном, романтическом уголке России родились все мои пятеро детей, от которых продолжался наш род и в конце концов произошел тот старик, который ходил по скулянскому кладбищу, разыскивая мою могильную плиту, но так до сих пор ее не нашел: видно, она очень глубоко ушла в землю и заросла полынью.

Мой младший сын Ваня впоследствии описал свое детство следующим образом:

«Скуляны состоят из двух частей: старые, где церковь православная и село молдавское; новые Скуляны, где почтовая контора, карантин, таможня, кордон пограничной стражи, главная улица с еврейскими лавками и постоянным двором, а затем дома разного чиновного люда».

«В новых Скулянах, на площади, стоял наш дом с громадным двором, посреди которого были сложены 20 или 30 сажен березовых дров, привозимых из заграничного берега Молдавии. При доме находился большой сад с виноградником и фруктовыми деревьями. Против выходного крыльца, внутри двора был земляной погреб, в котором хранилось все молочное, собираемое с коров. По левую сторону ворот стоял громадный амбар — кладовая, в которой по правую сторону от дверей стояли две сорокаведерные бочки наливки — сливянки и вишневки, а сбоку их — трехведерный бочонок заграничного рома для гостей, а по левую — несколько кадок соленого масла; в стеклянной же посуде — фунта два сливочного масла, которое через два дня пополнялось новым, а старое, если оставалось, солилось и клалось в кадку. Тут же стоял мешок крупитчатой муки; под потолком на балках висели окорока, в ящиках лежали колбасы и солтисоны, разная копченая пища. Стоял ящик с вермишелью, макаронами и разными съедобными продуктами».

«На дворе гуляло до сотни разной птицы: кур, гусей, индюков, уток, цесарок, каплунов, которыми заведовала особая крепостная женщина».

«В конюшне стояли 5 лошадей; во дворе было две кухни: господская с лучшей крепостной кухаркой, которая готовила под наблюдением матери, а другая, тоже с крепостной кухаркой, — людская».

«Продолжением кладовой был большой амбар, наполненный хлебом в зерне на продажу. Под амбаром был винный погреб для вина на продажу и домашнего обихода. Вино очень хорошее. Тут же в песке выложены были бутылки с разным иностранным вином, а также с донским...»

Воображаю, какие пиры задавал мой прадед, когда к нему наезжали гости из Кишинева и других мест центральной Бессарабии. Тут уж, конечно, из песка выкапывались и старое бургундское, и токайское, и столетний иоганисбергер, и уж, конечно, в большом количестве донское, цимлянское с засмоленными пробками, крепко перевязанными тонким шпагатом, который прадедушка собственноручно надрезал ножичком, после чего пробки вылетали со звуком пистолетного выстрела, и прабабушка затыкала уши мизинцами, восклицая свое неизменное «о майн гот!».

Вполне возможно и даже очень вероятно, что на прадедушкиных обедах бывал и молодой Пушкин, привезенный кем-нибудь из своих друзей, кишиневских чиновников, в пограничные Скуляны для того, чтобы своими глазами увидеть места, где герои Гетерии переходили Прут для того, чтобы сразиться за свободу Греции с ненавистными турками. А быть может, за хлебосольным прадедушкиным столом сидел и сам Александр Ипсиланти — бывший генерал русской службы, потерявший руку при взятии Дрездена в 1813 году, где, кстати сказать, дрался рядом с ним и прадедушка.

...и грибки шампанских пробок летели в потолок...

Можно предположить, что герой Гетерии Александр Ипсиланти и мой прадедушка, несмотря на разницу в чинах, все же могли быть друзьями. Им было что вспомнить за бутылкой донского, а вероятнее всего, за бутылкой вдовы Клико, зарытой особенно глубоко в заветном уголке винного погреба.

...Вижу молодого человека в коротком сюртучке, голубоглазого, смуглолицего, курчавого — Пушкина, — целующего ручку моей прабабушки, царившей за парадным столом в своем праздничном чепце с хорошо разглаженными атласными лентами.

Но это все, конечно, лишь плод моего воображения.

«Во дворе, — писал далее дедушка, — был особенный запасной флигель. Рядом с ним экипажный сарай с дрожками, коляской, бричкой и двумя санями: большими и малыми. В сарае при входе стояла домашней работы деревянная ступа, где толкли пшено. Подле угла того сарая был еще другой сарай, для дров. Под ним ледник, где летом хранился бочонок с пивом, приготавливаемым матерью по-немецки. Позади ледника — скотный двор. Возле сада был особый „саж“, где откармливались свиньи для зареза».

«На горище (то есть на чердаке) нашего дома висели на толстых бечевах виноградные кисти и разные фрукты, собираемые в саду и хранимые на зиму. Под ними разостланы были большие рядна, на которые падали некоторые фрукты — так называемая падалица. Ключ от горища всегда висел среди прочих ключей на поясе матери».

«Утром каждый день мать с крепостной горничной, а если ей было некогда, то посылала меня или сестру Лизу, чтобы горничная собирала в особую посуду упавшие фрукты, которые затем поступали в пользу крепостных».

«На горе, — было приписано на полях карандашом рукой дедушки, — от дома с правой стороны стояла большая мельница, куда по приказанию отца меня водили, приучая к опасности».

Вероятно, мой дедушка, маленький Ваня, впервые приведенный на мельницу, испытал такой ужас, что через много-много лет и таинственным путем этот ужас передался по наследству мне, его внуку.

Долго преследовал меня страх ветряной мельницы.

Не могу не привести несколько строк из «Капитанской дочки», которую как раз в это время перечитывал:

«Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не смотря на всевозможное презрение к предрассудкам».

«Я находился в том состоянии чувств и и души, когда существенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония».

Мне очень свойственно находиться в таком состоянии, как бы в миг засыпания, между бодрствованием и сном, что так чудесно назвал Пушкин «первосонием». Впрочем, я бы предпочел назвать его междусонием.

...между жизнью и смертью...

Я всегда испытывал ужас при виде огромных мельничных крыльев, проносившихся в опасной близости над моей головой, как бы желая меня обезглавить, при их зловещем скрипе, их движении силой степного ветра.

Еще больший ужас испытывал я, когда мне в детстве случалось, поднявшись по шаткой лесенке, войти внутрь работающей мельницы, где в сухом сумраке трясся привод, связанный из грубых деревянных брусьев, крутящийся столб со странным зернистым гулом вращал жернова, из-под которых лился белый ручеек пшеничной муки.

«Мысли гигантов... Мысли гениев», как сказал о работе мельничных жерновов один великий чёт.

Хлебная пыль стояла в воздухе и першила в горле. Люди с белыми мешками на спинах, осыпанные с головы до ног мукой, двигались мимо меня как привидения.

Не менее страшной казалась мельница ночью, посреди безлюдной степи, когда ее крылья неподвижно чернели на фоне звездного неба.

Тогда черная коробка мельницы, лишенная души, представлялась мне непомерно огромной, занимающей

полнеба, а я рядом с ней — таким маленьким!

Однажды, будучи юношей, шел я глухой ночью через степь между двумя лиманами — Куяльницким и Хаджибейским, засидевшись в гостях на Куяльницком лимане. Все уже ушли спать, а мы с «ней» одни продолжали сидеть на террасе, облитые теплым светом полуночной июльской луны, и никакая сила в мире не могла заставить меня встать с плетеного кресла, хотя девушка уже несколько раз зевнула, крестя свой маленький кошачий ротик. Наконец я заставил себя встать. Она пошла в комнаты и вернулась с небольшим дорожным пистолетом прошлого века. Наверное, из такого пистолета Дубровский застрелил медведя. Девушка попросила, чтобы я взял его на всякий случай: мало ли что могло случиться со мной ночью в глухой степи. Я сунул холодный пистолет под свою летнюю коломьянковую гимназическую куртку на грудь и пошел восвояси.

Уже перешло за полночь. На горизонте сгущалась предутренняя чернота.

...Я был опьянен любовью...

Глухая ночь, далекий лай собак, весь небосклон пропитан лунным светом, и в серебре небес заброшенный ветряк стоит зловещим силуэтом. Беззвучно тень моя по лопухам скользит и как разбойник гонится за мною. Вокруг сверчков хрустальный хор звенит и жнивье ярко светится росой. В душе растет немая скорбь и жуть. В лучах луны вся степь белее снега. До боли страшно мне. О, если б как-нибудь скорей добраться до ночлега.

Мне показалось, что я слышу за собой чьи-то недобрые шаги. Я вынул пистолет. Синий огонек луны скользнул по его никелированному стволу с ложбинкой.

Через несколько дней началась война 1914 года.

«За мельницей, — писал дедушка карандашом в слабеющей руке на полях своих мемуаров, — в пяти верстах были пять садов виноградных и фруктовых, названных по числу детей: Сашин сад, Яшин сад, Анастасьин сад, Лизин сад и Ванин сад (то есть мой сад!)».

«В моем саду было озеро с проточной водой, куда запускали карасей, окуней и раков для домашнего употребления, а в саду Анастасии — винодельный завод. Он выделял вино со всех садов».

«Один случай засел у меня в голове... Проезжая в бричке по моему саду...»

На этом месте запись карандашом обрывается. Доходя до этого места, я всегда начинаю гадать: какой же случай произошел с дедушкой в саду?

Так как я уже не мог никогда узнать этого, то на всю жизнь у меня осталось ощущение чего-то таинственного. Всякий раз, как мне приходилось войти под сень фруктового сада или в гущу виноградника с вырезными листьями, покрытыми бирюзовыми пятнами купороса, я испытывал и до сих пор испытываю это странное ощущение.

«Готовили у нас два раза: обед и ужин, все заново. Обедали потом под деревьями, возле дома, а зимой в комнате».

«Когда отец бывал у себя в кабинете, то ему посылали доложить, что кушанье готово. Мать, сестра и я стояли возле своих приборов за стульями и ожидали отца. При входе своем он крестился на образ, окинув предварительно своим взглядом, все ли в порядке, после чего садился, что обозначало, что нам тоже можно садиться».

«Никто прежде него не смел открыть рта».

«С матерью он говорил по-немецки, а с сестрой и мною по-русски, причем ответы наши должны были быть краткие и ясные, без рассуждений».

«По праздникам он разрешал давать к столу полбутылки шампанского или донского...»

Представляю себе, с каким нетерпением мой дедушка — тогдашний мальчик Ваня — и его сестренка Настя дожидались праздничного обеда, заранее чувствуя на языке морозные иголки шампанского. Они испытывали то же самое, что впоследствии, лет этак через сто с лишним, испытал однажды и я в парижской Гранд-Опера в антракте оперы Дебюсси «Страдания святого Себастиана», когда, пройдя в новых, скользких ботинках через громадное холодное фойе бельэтажа по хорошо натертому, но старому и скрипучему паркету,

я попал в буфет, где продавщица в наkolке налила мне в плоский бокал немного замороженного шампанского из златогорлой бутылки, и я отошел к громадному высокому окну с закругленным верхом, за которым сиял ночной Париж со множеством сверкающих витрин на авеню Гранд-Опера и фонарей в стиле XIX века, изливающих современный свет середины XX века всех оттенков голубого, зеленого, лилового, смешанных вместе, и сделал расчетливо маленький, божественно скупой глоток «клик», от которого по моему языку побежали иголочки, в горле защипало, а лиловые фонари площади, наполненной толпой, как бы потекли в моих глазах, меняя тона, и голова закружилась, повторяя движение бегущих вокруг площади автомобилей.

Ах, прадедушка, прадедушка, что ты натворил, разрешая моему дедушке глоток шампанского в праздник...

«Когда мне минуло семь лет, я был отдан к местному дьячку для обучения грамоте. Это продолжалось один год. Затем я вместе с другими детьми благородных семейств поступил к особому молодому учителю. Обучение шло довольно успешно...»

«Не могу не вспомнить: отец был строг, но очень меня любил, приучая меня ко всяким опасностям, например, к езде верхом без седла, приказывая кучеру Остапу сажать меня на коня и отпускать. Ездил я далеко за местечко на превосходном коне Овсяннике...»

«...чудный конь, смиренный, при нешибкой езде ходил иноходью, что было очень удобно для маленького мальчика».

Как увидит читатель в дальнейшем — если у него хватит терпения дочитать эту книгу, — будучи уже на военной службе во время кавказской кампании, дедушка много внимания обращал на лошадей и много ими занимался среди забот и опасностей походной жизни.

«Зимой при страшной вьюге и метели отец, выходя из кабинета в сени, бывало, крикнет:

— Ваня!

И я моментально, застегнув курточку, в шапке, вылетал в сени. Мать шла за мной».

«Вопрос:

— Здоров ли ты?

Я отвечал:

— Здоров, папочка.

Отворяя дверь во двор и повелительно указывая пальцем, отец командовал своим офицерским голосом:

— Марш!

В одну минуту я бросался в кучу снега и начинал барахтаться».

«Мать моя, стоя в ледяных сенях и подняв сложенные руки, со слезами на глазах восклицала:

— Майн гот! О майн гот! Майн либер зон!

— Ничего, — отвечал отец, — коли выдержит, будет здоров, а не выдержит — похороним. На кладбище много места».

«Затем он командовал:

— Довольно!

...и я вскакивал и становился перед ним как солдатик по команде „смирно“».

«Вопрос:

— Здоров?

И я отвечал:

— Здоров, папочка!

Хлопая меня по плечу, он говорил:

— Молодец!

И, обращаясь к матери, говорил:

— Бери его. Переодень в сухое».

«Мать хватала меня на руки и уносила в свою душистую комнату, начав переодевать. Прыгая на одной ножке со снятым мокрым чулком, я, бывало, кричал с восторгом:

— Папа сказал мне: молодец!

Мать только отвечала мне: „Гут, гут“, — и торопилась натянуть на мои ноги сухие шерстяные чулки домашней работы».

«Радость от похвалы отца была настолько сильна, что я готов был броситься в огонь, если бы он приказал».

«Через два года после поступления к учителю отправили меня в Одессу к моим братьям, которые, окончив Ришельевский лицей, служили в этом городе: старший брат, Александр, в коммерческом суде, а младший, Яков, в государственном банке. У них была квартира из двух комнат — одна была общею нашей спальней, а другая гостиной, где я занимался...»

Здесь рукопись обрывается, а на полях рукой деда карандашом написано:

«В 1844 году после Пасхи мой зять Ковалев, наняв возчика — повозку с будкой, — повез меня учиться в Одессу».

«Первый день поездки был довольно скучен и однообразен. Ровная местность, гладкая степь, не на чем отдохнуть глазу».

«На другой день пейзаж стал более разнообразен, начались горы, деревни, и наконец пошел дождь, ввиду которого мы раньше окончили дневную поездку, остановясь ночевать в одной болгарской деревне. Нам была отведена очень чистая комната. Хозяин дома, занятый выжиманием вина в особо устроенном сарае, производил его довольно чисто».

«Переночевав, мы выехали. День был чудный. Мокрая зелень блестела на солнце. Освеженный ароматный воздух заставлял забывать неудобства нашего путешествия».

«На третий день мы въехали в Кишинев и остановились на постоялом дворе. Оттуда пошли отыскивать поручика Модлинского полка Войтова. Мы застали его в офицерском собрании, где была масса его товарищей — все люди почтенного возраста; между ними ни одного молодого, как мы привыкли видеть в армии теперь».

Я думаю, это были ветераны войны Двенадцатого года.

«Поговорив о том о сем, мы простились и ушли домой. На следующий день после обеда на постоялом дворе выехали. Вечером другого дня остановились в Тирасполе, где ночевали, тоже на постоялом дворе».

«Наутро опять были в дороге...»

«Проезжая мимо Бендер, мы мельком увидели крепость — не грозную твердыню, где в начале XVIII века искал последней опоры разбитый Петром под Полтавой шведский король Карл XII и предатель России, кровавый старик Мазепа, а мирный уголок, где помещался военный госпиталь и склады с разным имуществом».

«Через некоторое время наше путешествие окончилось. В Одессе мы остановились на постоялом дворе в доме Томазани, теперь Бернштейна, на углу Полицейской улицы и Александровского проспекта. Дом этот существует и теперь в том же виде, но третий этаж надстроен. Закусивши, мы пошли в банк к брату Якову...»

Тут карандашные пометки на полях кончаются, и рукопись обрывается несколькими пустыми

пожелтевшими страничками.

...Вижу девятилетнего мальчика в курточке, Ваню, моего дедушку, которого везут из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Ваня впервые расстается с отчим домом, с матерью и отцом в армейском капитанском мундире, которые стоят на крыльце, глядя на дорожную повозку с будкой — так называемой халабудой, — увозящую в клубах холодной утренней пыли их младшего сына в новую жизнь.

Мать утирает щеки платком, отец хмурится, бодрится, старается выглядеть молодцом, опирается на палку.

Больше Ваня уже никогда его не увидит.

Что может сравниться с чувством первого расставания с родным домом, с местами, знакомыми с самого раннего детства? Кто знает, быть может, Ваня уже никогда в жизни не проедет по этой скучной, плоской равнине вдоль пограничной реки Прут, которая в его детском воображении превращалась в романтическую местность, полную красот и загадок. Сердце его сжимается от недобрых предчувствий, свойственных человеку, впервые покидающему семью. Чаще всего эти дурные предчувствия оказываются ложными. Но кто знает, что будет впереди!

Впрочем, эти черные мысли быстро проходят. Внимание то и дело отвлекается. Маленький Ваня видит вокруг себя незнакомую страну, живописную область Российской империи между двумя реками — Прутом и Днестром. С каждой верстой местность становится все красивее. Невысокие горы, скорее холмы, дальние отроги Карпат, долины, возвышенности, как бы переливающиеся одна в другую, кое-где грабовые и дубовые рощи — по-молдавски «кодры», — уже покрытые первой зеленью, пасхальное небо с легкими облачками, яркое, но не резкое солнце, аисты-черногузы на камышовых и соломенных крышах чистеньких, даже нарядных молдавских деревень, мазанки со столбиками навесов — голубые, лиловые, розовые... Первая пыль над дорогой... Первая бабочка... Начинающие зеленеть ореховые деревья.

Иногда на горизонте появляются старинные турецкие крепости — свидетели русской военной славы, свидетели побед и поражений. Тени Петра, Карла XII, Кантемира, турецких полководцев, шведских солдат, Суворова, Потемкина.

Маленький Ваня ехал по полям, где еще до сих пор в земле находили чугунные ядра, заржавленные штыки-багинеты. Вокруг мальчика простирался театр бывших войн... Но, может быть, не только бывших, но и будущих, кто знает? Это бросало тревожную тень на окрестности. Ванино воображение было не в силах проникнуть в будущее. Будущее не просматривается сквозь голубой зеркальный воздух ранней весны, но тень будущего как бы плывет вдоль волнистого горизонта.

Тенистый, весь в зелени, маленький провинциальный Кишинев с одноэтажными городскими домиками, в одном из которых совсем еще недавно жил ссыльный Пушкин... Гарнизонное собрание, где Ваню поразило, что почти все офицеры — люди пожилые, даже старые, как и его отец, ветераны достопамятного Двенадцатого года, как бы овеянные славой Бородина, Смоленска, Дрездена...

...А там дальше вдруг — резкая полоса ни разу в жизни еще не виданного моря, того самого Черного моря, которое в энциклопедических словарях часто называлось заливом Средиземного...

...И наконец въезд в Одессу, в богатый, шумный, каменный город порто-франко.

Но что такое порто-франко? Не каждый знает.

Вот что об этом пишет одесский летописец Де-Рибас, потомок того самого Де-Рибаса, одного из основателей города в том виде, в каком он существует и ныне:

«Летом 1817 года стали направлять в сторону Куяльницкого лимана большие партии арестантов и вольнонаемных рабочих для прорытия канавы вокруг Одессы от Куяльника до Сухого лимана на протяжении 24-х верст. Канавы эта должна была служить чертою, внутри которой все привозимые морем иностранные товары могли быть продаваемы без взимания за них таможенных пошлин. При вывозе этих товаров за черту города для направления внутрь России или транспорта за границу они оплачивались обычным порядком, для чего были устроены особые таможенные заставы (Херсонская и Тираспольская). Множество иностранных судов стояло на рейде, зная о предстоявшем введении в Одессе нового таможенного порядка. Они ожидали сигнала, чтобы поскорее причалить к пристани и выгрузить беспошлинный товар. Наконец раздался этот

сигнал — пушечный выстрел...»

«Вся жизнь в Одессе преобразилась, все стало в ней дешево, и самые малоимущие слои населения могли себе позволить роскошь пользоваться заграничными произведениями...»

Вот что такое было порто-франко. Одесса стала чем-то вроде вольного города, и эта райская жизнь Продолжалась до 1857 года.

Стало быть, дедушка приехал в Одессу времен порто-франко, и его поразила кипучая жизнь этого богатого европейского портового города, по сравнению с которым Кишинев, не говоря уж о родных Скулянах, казался захолустьем. В особенности поразил дедушку одесский порт с волнорезом и сияюще-белым Воронцовским маяком в форме удлиненного колокола, вокруг которого летали тучи чаек. В порту стояло множество торговых заграничных судов, анатолийских фелюг, бригантин, дубков, легкокрылых яхт, среди которых иногда виднелись черные трубы колесных пароходов, покрывавших вокруг себя воду сажей. Грузчики тащили на спинах тюки товаров и сваливали их в пакгаузы. Иные из грузчиков были полуголые, в турецких фесках. В толпе расхаживали иностранные матросы, шкипера с трубками в зубах.

Иногда к пристани подкатывал блестящий экипаж с каким-нибудь местным негодником-итальянцем или греком. Все вокруг кипело портовой жизнью.

А в открытом море, среди сине-зеленых волн с барашками пены, шло — при свежем крепком ветре — несколько военных фрегатов Черноморского флота под всеми своими многоярусными надутыми парусами, с треугольниками кливеров над бушпритами, с андреевскими флагами — крестом голубой на белом фоне, — с медными пушками, виднеющимися в глубине квадратных люков, называемых портами. И чудная эта картина со всеми своими подробностями показалась мальчику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга навернулись на его голубые глаза.

А когда через несколько лет началась война на Кавказе, молодой восемнадцатилетний юноша, как об этом впоследствии написала сестра моей покойной мамы, тетя Наташа, в своей «Хронике семьи Бачей», немедленно отправился добровольцем, или, как тогда говорили, охотником, на поле брани. Там он, «не считаясь с опасностью для жизни, с юношеским пылом бросался в самые опасные места боя».

Первые годы военной службы дедушки мне неизвестны, так как тетрадь с их описанием утрачена. Но сохранилось несколько других тетрадей, из которых одна, по-видимому, вторая, начинается прямо со середины фразы:

«...командир полка ввиду невозможности доставать продовольствие разрешил получать нам из рот на приварочные деньги (3 копейки в сутки) сухари и пищу, если таковая готовилась. Это нам много помогло, по крайней мере, не чувствовалось голода».

По-видимому, это писалось дедушкой уже в старости, в виде мемуаров, которые были так распространены среди отставных генералов, считавших долгом оставить потомкам описание своей военной службы.

Рука у него была еще довольно твердая, чернила не слишком выцвели, и писались мемуары уже не гусиным пером, а стальным, отчетливо.

Все же мне стоило большого труда разобрать не всегда понятные завитушки, свойственные его полустаринному почерку. Он, например, писал букву «с» в виде громадной скобки, уходящей глубоко вниз, так что я долго не мог привыкнуть к тому, что этот странный знак есть не что иное, как обыкновенная буква «с».

Букву «ж» он писал так же точно, как свое загадочное громадное «с», но только с каким-то узелком посередине, так что часто поначалу мне приходилось гадать, какая это буква: «с» или «ж»?

Букву «л» он писал в виде геометрического обозначения угла или уменьшенного латинского «L».

Удивительно, что я тоже одно время вдруг стал писать эту букву таким же манером: вероятно, во мне начали проявляться дедовские гены, так же точно, как некогда, в свою очередь, они перешли к дедушке от прадедушки, в особенности в начертании буквы «Б», стоявшей в начале их фамилии. В этом я убедился, когда получил из молдавского архивного управления фотокопию подписи моего прадедушки на какой-то официальной бумаге того времени, обнаруженной в архиве Скулян: подпись с росчерком. Кроме трудных букв «с», «ж» и «л», в почерке дедушки была еще одна особенность, свойственная также и почерку его отца: часто

последние буквы какого-нибудь слова делались мал мала меньше, совсем крошечные, почти микроскопические. Для того, чтобы их прочесть, приходилось прибегать к увеличительному стеклу.

Вся рукопись деда представляется мне теперь как ряд сильно увеличенных, почти огромных прописей, бегущих перед моими глазами как странные призраки букв-великанов.

Волшебная сила увеличительного стекла как бы возвращала их ко мне из непомерно далекого прошлого, принося с собой яркие картины этого прошлого: скалистые горы, сакли, каменистые дороги, горные реки, ущербную луну...

«Денщики всегда пользовались этим и для пропитания себя...»

Значит, дедушка в это время уже имел денщика, то есть был офицером.

Сначала доброволец, охотник, потом совсем молоденький офицер, подпоручик, некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и прадедушкиной военной карьеры с той лишь разницей, что прадедушка дослужился до капитана, дедушка вышел по старости лет в отставку в чине генерал-майора, а меня застала революция прапорщиком, представленным к производству в подпоручики.

«Утром встав, оглядевшись, проверили людей, некоторых татар не оказалось, вероятно, во время движения они тихонько отстали, но особого вреда нам не сделали... Наскоро пообедали кашицей с салом и пошли в поход на Цхенис-Цхали, куда должен был прийти и отряд из Мингрелии. Там мы остановились, чтобы защищать дорогу к Кутаису, где собрались все к 21 ноября 1855 года».

(Не уверен, что все названия населенных пунктов и фамилии прочитаны мною правильно, особенно на первых страницах записок, так как бумага почти сплошь покрыта ржавыми крапинками, как кукушино яйцо.)

На правах внука, продолжателя рода, считаю возможным кое-где исправлять стиль дедовых записок, сохраняя все их простодушие, свойственное девятнадцатилетнему субалтерну, прямо с гимназической скамьи попавшему на Кавказ, называвшийся в песнях того времени «гибельный», в армию, ведущую затяжную войну то с горцами, то с турками, послужившую темой для Пушкина, Лермонтова, а потом и Льва Толстого, который примерно в одно время с дедушкой воевал на Кавказе, а затем в осажденном Севастополе.

«Мы, субалтерны роты поручика Равича, подпоручики Беляев и я, заняли одну саклю, где также поместили двух наших верховых коней и денщиков. Посередине сакли развели костер, на котором денщик ротного командира готовил общий обед и чай».

«Спали мы на земляном полу, на соломе, не раздеваясь. Лошади в ногах наших жевали гогий — нечто вроде нашего проса».

«Дня через два была тревога:

— Турки идут!

По тревоге все части с артиллерией и казаками выступили в боевом порядке к реке, вблизи которой на версту расстилалась ровная поляна».

«По разведке всегда оказывалось одно и то же: милиционеры видели за рекою движение турок, поднимали тревогу, после которой турки отступали. И мы возвращались обратно на свои квартиры, где нас ожидали денщики».

«Так было и теперь».

«Проделав хороший моцион, мы с аппетитом обедали, затем начинались шутки, рассказы — словом, все шло своим чередом».

«Подобные ложные тревоги служили некоторым развлечением в нашей обыденной, но тревожной жизни».

«В особенности тревожно было на Рождестве. Пришел Новый, год, и мы ждали наступления на нас турок, но они хотя иногда и появлялись за рекой, но видя, что мы бодрствуем и готовы к бою, после нескольких пустячных выстрелов опять уходили, давая нам повод полагать, что турки не очень-то хотят боя. Видимо, война кончалась».

Далее дедушка в протокольном стиле повествует о том, как он в одно из спокойных воскресений ходил в местечко на базар, где пил «горячую воду, варенную с медом», закусывая чуреками — «лепешками из толченой гогии», — а также вместе со своими товарищами младшими офицерами разглядывал толпу имеретинов, приехавших на базар для продажи лошадей местной горской породы.

Среди однообразия бивачной жизни дедушка описал два случая, поразивших его своей дикостью:

«Во время стоянки в Хони однажды в воскресенье по многолюдному базару проезжал верхом старший полковой священник отец Михаил Мищенко, очень серьезный, пожилой человек, умный и богатый. Навстречу ему попался другой полковой священник, младший, отец Семен Судковский, молодой человек, неизвестно как попавший в духовное звание. Его жизненная дорога была дорогой так называемого у нас „кутилы-мученика“. Карты и вино — вот все, что он любил в жизни».

«Поравнявшись с отцом Мищенко, отец Судковский преувеличенно, шутовски-лихо откозырял, но отец Мищенко, видя, что Судковский навеселе, ограничился сухим поклоном и, не останавливаясь, стал продолжать свой путь. Тогда Судковский, вдруг повернувшись назад, ударил лошадь отца Мищенко плеткой и крикнул на нее. Лошадь подскочила. Мищенко, весь бледный, схватился за гриву, но лошадь все несет да несет, потому что Судковский продолжал кричать, скакать рядом и бил ее изо всех сил плетью».

«Весь базар сбежался и гогочет, смотря на такую потеху».

«Проскакав таким образом с версту, Судковский остановился и, смеясь, крикнул:

— А что, отец Мищенко, хорошо ли вашей ж...?»

«Проскакав еще версту, лошадь Мищенко была остановлена солдатами».

«Случай этот не прошел Судковскому благополучно: по поданному отцом Мищенко рапорту Судковский был переведен в Севастопольский полк, но история этого происшествия долго была в памяти нашего полка».

Можно себе представить, какой вид имел отец Мищенко во время своей вынужденной скачки: пожилой священник в порыжелой походной рясе, в стальных очках, с косичкой серо-серебряных волос, выбившейся из-под касторовой шляпы, с наперсным крестом на черно-красной владимирской ленте, коими награждали армейских священников вместо боевых орденов, подпрыгивающий на несущейся карьером взбесившейся лошади, уронив поводья и болтая ногами в сапогах с рыжими голенищами.

Другой случай, описанный дедом, окончился более трагически:

«Командир 10-й роты поручик Бахметьев, богатый помещик Казанской губернии, любящий покутить, устроил на масленицу в местечке кутеж, по окончании которого, севши верхом на своего горячего коня-аджарца, понесся домой в лагерь, непрерывно хлестая коня плетью. Конь, закусив удила, летел, как стрела из лука. На пути стояло дерево, старая чинара, ветви которой повисли над дорогой. Бахметьев спяну не разглядел его. Удар со всего лету был роковой. С разmozженной головой Бахметьев упал замертво. Коня поймали и привели. Брат покойного подпоручик Бахметьев устроил аукцион имущества брата, и конь этот — серый, длинный, высокий, с лебединою шеей — достался мне».

«Я рад был покупке, сам с денщиком ухаживал за ним. Конь страдал мокрецами, которые завелись по случаю февральских дождей, разведших сырость и мокроту: таков кавказский климат!»

«Все вдруг стали говорить, что перемирие заключено, хотя положительных сведений не имелось».

«Именно в это время наш новый батальонный командир майор Войткевич почему-то вздумал производить учения — ружейные приемы, — на которые выводились все четыре роты, но без офицеров, кроме меня. Только один Войткевич да я присутствовали».

«Батальон становился покоем (то есть в виде буквы „п“), я командовал, а Войткевич смотрел придирчиво, педантично поправлял, по десять раз заставлял делать каждый прием. Он принадлежал к числу тех недоброжелательных, вечно чем-то обиженных, злых, жестоких офицеров-службистов, которых во множестве породила кавказская война».

«Мои товарищи по батальону, офицеры, подшучивали надо мной, что я попал в милость к Войткевичу, хотя, по совести говоря, я этого совсем не искал. Почему выбор Войткевича пал на меня, не знаю. Вероятно, это

была одна из его причуд, так как ко всему прочему он был еще и самодур».

«Впрочем, должен сознаться, мне эти ежедневные упражнения даже нравились: видимо, во мне билась военная жилка, унаследованная мною от покойного отца».

«Кроме того, учения эти как бы сокращали время и оно тянулось не так мучительно».

Видимо, у дедушки наступил тот момент душевного разочарования в своей службе, который время от времени наступает у военных, в особенности во время затяжной кампании, что, между прочим, не раз испытывал и я на позициях под Сморгонью во время первой мировой войны. Тогда мне под любым предлогом хотелось уйти с батареи и погулять одному среди густых хвойных лесов, постоять на перекрестке дорог, где находилось деревянное распятие с маленькой фигуркой Христа, а также с молотком и клещами, привешенными к перекладинам креста, — тем самым молотком, которым забивали гвозди в руки и ноги распятого, и теми самыми клещами, которыми потом вытаскивали эти гвозди.

Такие придорожные распятия были обычны для тех мест.

Там я задумчиво стоял, проклиная тот час, когда решил отправиться на фронт и принял присягу и теперь был уже навсегда связан с ужасной военной жизнью, и в одиночестве глотал слезы, вспоминая все свои любовные приключения в тылу, и сочинял сентиментальные стихи, посвященные разным девушкам — подругам моей свободной и легкой юности, счастливой жизни в тылу, где мне не угрожала ежеминутная возможность смерти.

«Слякоть еще была, но холода уже не было. Такова здешняя весна. Пасха прошла незаметно. 20 апреля 1856 года получили наконец извещение о заключении мира. На другой день пришли к церкви, выстроились, отслужили молебен, промаршировали и стали на свои позиции. Утром разрядили ружья, почистили их и заговорили о том, что будет с нами дальше. Многие офицеры, особенно помещики, подали в отставку».

Но куда было деваться двадцатилетнему подпоручику, почти мальчику, одному из наследников бессарабского имения, которое мать, потерявшая недавно мужа, продала за гроши и переехала в Одессу, где жила на положении бедной капитанской вдовы на иждивении своего старшего сына Александра.

Дедушке оставалось одно: служба в армии. И он покорился своей судьбе, тем более что и покойный отец его, и дед — неведомый нам Алексей Бачей, — и отец этого неведомого Алексея Бачея — прапрапрадед, по преданию один из запорожских старшин, — все они были военные.

Стал пожизненным военным и молодой кавказский офицер, мой дедушка Иван Елисеевич Бачей, вот уже третий год тянувший, подобно Льву Толстому, кавказскую походную лямку.

«Через неделю получили приказ выступить в Кутаис. Собрались, пошли и через два дня были уже в знакомом городе. Жизнь в нем после долгого застоя кипела. Но, увы, мне не пришлось воспользоваться радостями мирной жизни в удобной городской обстановке. Простояв в Кутаисе два дня, мы получили приказание идти за город, верст двадцать влево, рубить лес и прокладывать дорогу».

«Так после жестокой войны мы были обращены в военнорабочих».

«Что ж делать, мы люди подчиненные, исполняем что приказывают — без прекословия: на то служба».

«Пришли, стали в лесу в палатках, получили от инженеров топоры и пошли крошить!»

«Скучно, грустно, но, проведши целый день на работах, возвращаешься к вечеру сильно уставший, пьешь чай, ужинаешь и засыпаешь».

«Через месяц прорубили дорогу и получили приказание идти за тем же еще несколько назад. Прошли обыкновенным шагом еще верст тридцать и, остановившись под какую-то горой, снова стали рубить лес».

«Помню один ужасный случай во время рубки леса — еще на старом месте. Люди стали сильно болеть. Унтер-офицер 6-й роты Гольберг из учебного полка, бывший еврей, а тогда уже православный, выкрест, лежал в сильном пароксизме лихорадки и не вышел на работу, о чем фельдфебель доложил по команде ротному, так что все было по уставу».

«Командир батальона майор Войткевич, проверяя людей, узнал, что Гольберг отсутствует. Поднялся крик, шум. Войткевич тут же приказал привести Гольберга. Его привели больного, едва державшегося на ногах, в

жару, в лихорадке, с желтым малярийным лицом и дрожащими ногами.

— Почему не пошел на работу? — крикнул Войткевич.

— Крепко болен, — сказал Гольберг».

«Войткевич прикусил свой рыжеватый, как бы постоянно мокрый ус. Его щека задергалась, глаза сузились. Он размахнулся и несколько раз ударил Гольберга по лицу. Гольберг свалился на землю. Тогда Войткевич стал бить его каблуками по чем попало: по лицу, по груди, по темени. Гольберг сначала кричал, а потом перестал, затих, несмотря на сыпавшиеся удары».

«Уставши бить, Войткевич снял свою боевую смятую фуражку, вытер со лба пот носовым платком, который извлек из заднего кармана походного сюртука, поправил съехавшую за спину кавказскую шашку, отделанную серебром с чернью, отвернулся и приказал убрать Гольберга».

«Гольберга подняли уже мертвым, отнесли в лазарет, где приняли и показали в бумагах умершим от дизентерии».

«Так погиб человек неизвестно за что, — пишет дедушка и прибавляет свою характеристику Гольберга: — Хороший был служака».

Больше у дедушки не нашлось никаких слов. Да и что он мог сказать, обмерший от ужаса, скованный жесточайшей дисциплиной, лишенный права выражать свои чувства и мысли, на всю жизнь морально прикованный к слепо движущейся машине старорежимной николаевской, а потом александровской армии? С юных лет превратившись в нерассуждающего солдата, дедушка даже на старости лет, будучи уже генерал-майором в отставке и пища на свободе свои мемуары, все-таки избегал по мере возможности высказывать свои мысли и чувства, делать характеристики сослуживцев, предпочитая ограничиваться лишь протокольным изложением фактов и упоминанием фамилий и чинов.

«...прибыл к нам новый батальонный командир, произведенный из капитанов Белостокского полка, майор Войткевич Франц Игнатьевич, поляк, женатый в Одессе».

Дедушка не объясняет, тот ли это Войткевич, который убил Гольберга, или другой, однофамилец. Все же, я думаю, тот.

А между тем есть основание полагать, что слава Войткевича как офицера-зверя была уже широко распространена в армии, так что следовало бы уточнить, о каком Войткевиче идет речь.

Впрочем, Войткевич не представлял исключения, он являлся довольно распространенным типом той эпохи: жестокого по отношению к нижним чинам и грязного интригана по отношению к своим товарищам офицерам, карьериста и хапуги...

«Прекратив рубку леса, пошли мы далее, остановившись на позиции в пятидесяти верстах от г. Сурама. Разбили палатки для стоянки».

«...снова у меня появилась лихорадка: во время пароксизма лежу на бурке и мечусь часа два, иногда три. Потом кое-как поднимусь на ноги, пойду, пошатываясь, и сяду впереди палатки. Сижусь, смотрю на прекрасную, но чуждую моему сердцу природу».

«Промучившись неделю, наконец поправился. Вероятно, сухая, открытая местность нашего лагеря помогла мне перенести приступ малярии, этого бича кавказской жизни».

«Через неделю пошли далее по направлению к Сураму. Я ехал на своем коне Дагобере, имея вещи в переметных сумах; кастрюли нес на себе денщик. Опять пошли дожди. Душная сырость Кавказа вызвала вновь у меня лихорадку. До того дошла слабость, что еду и качаюсь в седле между своих переметных сум. Придя в Сурам, стали общим полковым лагерем на совершенно ровном, открытом месте».

«Сурам тогда не представлял ничего хорошего. Несколько домов, выстроенных из местного камня, лишенных какого-либо архитектурного стиля, под зелеными или красными железными крышами. Направо и налево горы, покрытые лесом, менявшим свою окраску в зависимости от погоды: в солнечные дни он был веселый, прозрачный, с черными стволами, просвечивающими сквозь зелень орешника, кизила, шиповника. В дождливые дни, когда туман непроницаемо окутывал вершины и лишь у подошвы горы можно было

рассмотреть что-нибудь, лес еле заметно синел, и сырая духота наполняла долины».

Правду сказать, скучно писал мой дедушка.

Однако Пушкин как-то заметил, что есть книги скучные, которые читаются лучше нескучных.

«...чем книга скучнее, — писал Пушкин в своем „Путешествии из Москвы в Петербург“, — тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания, etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целью просто литературною...»

Будем надеяться, что Пушкин прав, и продолжим довольно скучные заметки моего дедушки.

«Позади лагеря шла кремнистая дорога на Боржом, где находилась почтовая контора, в которой наши получали корреспонденцию, идущую из далекой России».

«Вид позиции — ровный, зеленый, со стройными рядами белых палаток — сначала очень мне нравился и вселял в душу нечто вроде военной гордости. Но ее живописное однообразие скоро мне надоело. Лежа на бурке перед палаткой, я думал о своей дальнейшей судьбе, и она меня не слишком радовала: первое, еще совсем детское увлечение боевой жизнью давно прошло, романтика рассеялась, и теперь я смотрел на свое положение более трезво: молодой человек в малых чинах, без средств, на чужой стороне... Не очень-то весело. Но что делать?»

«Такова была моя служба, моя судьба, отчасти повторявшая судьбу моих предков — русских офицеров».

«Когда я поправился, меня вместе с писарем на казенной подводке послали в Боржом получить корреспонденцию для полка».

«Поехали часов в восемь утра. Погода была чудная, но ровность и однообразие дороги среди зеленых гор скоро показались мне скучными».

«В два часа появилось знаменитое Боржомское ущелье. Справа крутой гористый берег, слева далеко внизу — река того же названия. Дорога идет извилинами, попадаются большие площадки — на них дома военнорабочих, сады».

«Река так хороша, что невольно — хотя никогда и не видел — сравнил бы ее с Рейном, почему-то пришедшим мне на мысль во всю дорогу — несколько верст — до Боржома».

Дедушка не понимал, почему ему пришла мысль о Рейне. А я понимаю. Наверное, дедушкина мать, моя прабабка, рассказывала своему младшему сыну Ване какие-нибудь легенды о русалках Рейна, а быть может, и пела о чем-нибудь подобном, качая ногой его деревянную молдавскую колыбель-качалку, уделанную крепостным столяром. Не исключено, что в скулянском доме на стенах висели под стеклом в рамках, оклеенных ярко-синими и золотыми бумажками, литографические виды Рейна, раскрашенные от руки акварельными красками: курчаво-зеленые холмы, покрытые виноградниками, кроны романтических суковатых дубов и буков и кое-где на скалах увитые плющом руины средневековых замков, а посередине струящейся реки — челны рыбаков.

...Молоденький офицер в летнем сюртуке с высокой узкой талией, в фуражке в белом полотняном чехле, отчего она казалась несколько великоватой, проезжал вместе с полковым писарем мимо кавказской реки, текущей среди холмов с остатками древних грузинских крепостей, и ему невольно представлялось, что он едет по берегу Рейна и слышит невнятные голоса русалок, поющих что-то на немецком языке...

«В конце пути показались красивые здания, почтовая станция, где я и остановился в качестве военного пассажира. В углу станционного двора поставили нашу казенную повозку, а лошадей отвели под навес, чтобы солнце не так сильно их жгло. Умывшись и почистив от пыли сапоги, пошел я через мост в военный госпиталь навестить некоторых своих товарищей, больных офицеров. Меня окружили. Стали расспрашивать:

— Скоро ли в Россию?

Я отвечал, что еще ничего не известно».

«Из госпиталя прошел я в почтовую контору и, получив корреспонденцию, отправился бродить по городу с большим великолепным домом в несколько восточном, мавританском вкусе, почти дворцом, великого князя Михаила Николаевича, который виднелся в глубине громадного южного сада, откуда текли то жаркие, то прохладные запахи лавровишни, кедров, кипарисов, грецких орехов, каштанов, чинар, вьющихся роз».

«Очень оживляла город протекающая посередине река, плывущие по ней небольшие лодки и разбитые на берегу палатки купален».

Зеркальные вспышки мокрых весел, шум и крики купальщиков, говор гуляющей публики, смех, восклицания.

«Возвратясь на станцию, с аппетитом пообедал и лег отдохнуть в комнате, недавно выбеленной, еще сырой, с невысохшей известкой».

«Жарко, душно, нестерпимо... К вечеру стало прохладнее. Я вышел на крыльцо, и мне было так приятно подышать чистым, бальзамическим горным воздухом».

Ах, как я понимаю моего дедушку, который без фуражки, расстегнув на груди сюртук и сорочку, под которой висел на цепочке золотой крестильный крестик, стоял на крыльце почтовой станции, глядя на снежные вершины гор, за которыми гасли последние лучи заходящего солнца.

Быть может, в эти минуты, сам того не сознавая, дедушка наслаждался свободой, столь редким даром для всякого подневольного, военного человека.

Помню себя восемнадцатилетним вольноопределяющимся на позициях под Сморгонью, куда я попал, подобно дедушке, прямо с гимназической скамьи. Сначала я не понял, что уже больше не принадлежу самому себе. Но скоро, приняв воинскую присягу перед строем своей батареи в деревне Лебедянь, почувствовал себя навсегда связанным с армией, лишенным свободной воли, полностью зависящим не только от своего взводного, но даже от орудийного младшего фейерверкера, не говоря уж о фельдфебеле и командире батареи, имевших право распоряжаться моей жизнью.

Я не смел ни на минуту отлучиться без разрешения от своего орудия, чтобы погулять в одиночестве на воле. Только тогда я полностью оценил свою утраченную свободу. Но было уже поздно: я принял воинскую присягу. Постепенно я втянулся в жизнь батареи, подчинился солдатской дисциплине и даже иногда находил в ней удовольствие.

Но главной радостью для меня в то время являлась возможность по приказу начальства отлучиться с батареи по каким-нибудь делам в обоз первого разряда, или в штаб бригады за письмами, или в околоток, если я вдруг чувствовал себя заболевшим, но тогда в сопровождении кого-нибудь из фейерверкеров, несущего под мышкой специальную «больничную книгу».

Тут я на час, на два вдруг оказывался принадлежащим самому себе. Никто мною не командовал, не распоряжался. Я шел, весело размахивая руками, расстегнув верхний крючок моей длинной артиллерийской шинели с черными выпушками и суконными погонами, на которых толстым слоем коричневой потрескавшейся масляной краски, наложенной сквозь трафарет, был отпечатан номер нашей бригады — 64-й — и две скрещенных пушечки.

Дышалось легко, и утренний морозный воздух мерцал вокруг моего дышащего рта мельчайшими ледяными кристалликами. Густые полесские ели, красиво обложенные пластами толстого голубого снега, как бы стояли по колено в сугробах, и мутно-розовое морозное солнце выходило из-за горизонта, над которым со стрекозиным шумом летел аэроплан-корректировщик.

С какой радостью я получал в бригадной канцелярии, размещенной в фольварке, пачку писем для своей батареи, среди которых находил один или два узких конвертика, надписанных не совсем установившимся, полудетским девичьим почерком.

Я разрывал на ходу конверт на тонкой цветной подкладке и жадно читал, сняв вязаные перчатки, письмо, от которого пахло легкими цветочными духами — ландышем, фиалкой, резедой, — и не было тогда человека счастливее меня на земле, охваченной пожаром всемирной бойни.

...и даже вернувшись на батарею, явившись взводному фейерверкеру и сбежав по земляным ступеням, обшитым тесовыми дощечками, глубоко вниз, в темный и тесный наш блиндажик, где всегда остро пахло еловыми и можжевельновыми ветками, я продолжал перечитывать при скупом дневном свете, проникавшем с воли в землянку, милое письмо, а в глазах у меня продолжал еще плавать синий отпечаток утреннего солнца и летящего над горизонтом корректировщика...

Так что я вполне понимаю душевное состояние дедушки, ездившего в Боржом за почтой.

«Утром рано встал, напился чаю из помятого станционного самовара и собрался в обратный путь. Приятно было ехать по великолепному Боржомскому ущелью не торопясь, шагом, любясь рекой, ставшей как будто еще красивее. Миновав ущелье, поехал рысью и к обеду был уже в лагере, сдал корреспонденцию и возвратился в свою палатку».

«Пошли обычные занятия. Время текло незаметно. В конце сентября я стал чувствовать себя нехорошо: краткость сна, головная боль, отсутствие аппетита. В октябре болезнь усилилась. Полковой врач признал необходимым отправить меня в горийский госпиталь, верстах в тридцати от места нашей стоянки».

Помню свою военную юность. Когда мне становилось неумолимо тянуть солдатскую лямку, когда жизнь начинала казаться беспросветной, а война — величайшей глупостью человечества, тогда меня неизменно спасала какая-нибудь выдуманная или подлинная болезнь, которую я еще больше в себе разжигал. Я кашлял, у меня поднималась температура. Взводный фейерверкер заглядывал мне в разинутый зев и многозначительно пожимал плечами. Он был добрый человек и отправлял меня в бригадный околоток за восемь верст, на станцию Залесье, где, пользуясь хорошим отношением ко мне бригадного лекаря, я и оставался на несколько дней. Там, лежа на нарах, покрытых трухлявой соломой, бок о бок с большими солдатами и слыша слабо доносившуюся издали пальбу наших батарей, я наслаждался безопасностью и бездельем. Околоток был для меня отдыхом, спасением, чем-то вроде украденной свободы.

Несмотря на множество гнездившихся в пазах госпитальной избы крупных местных клопов, которых по ночам больные солдаты выжигали спичками, несмотря на необходимость принимать касторку и разевать рот, куда веселый и грубый фельдшер-украинец со странной фамилией Шкуропат, пуская во все стороны свои шутки-прибаутки, залезал специально выструганной щепочкой с тампоном ваты, смазывая мое горло черным, как деготь, жгучим йодом, и я потом целый час отплевывался желтой горько-сладковатой слюной, — все же это была свобода, и, лежа ночью на нарах среди хрипящих и стонущих солдат, в духоте и вони, я предавался поздним сожалениям, что пошел на войну добровольцем, и при свете маленькой керосиновой коптилки перечитывал письма, полученные из тыла.

«Я, — продолжает дедушка, — подал рапорт о болезни. Меня одели, укутали и, положив на двухколесную арбу, повезли с другими больными в горийский госпиталь».

«День был яркий, теплый, даже жаркий, сухой, и кавказская природа, еще почти не тронутая осенним умиранием, окружала меня во всем великолепии своих южных красок, но любоваться природой не пришлось: болезнь крепко меня прихватила».

...Видимо, дедушка получил на турецком фронте, за Батумом, малярию...

«Меня уже стал сильно трясти озноб, не попадал зуб на зуб. Начинался пароксизм. И когда к вечеру мы прибыли в город Гори и поехали по узким улицам среди саклей, окружавших стоящую посередине города скалистую гору с живописными остатками старинной крепости, и громадные колеса нашей арбы на четверть погрузились в каменистую пыль, я уже почти ничего не соображал, и первая ночь в горийском госпитале прошла в кошмарах, не прекратившихся с наступлением утра, и мучительно тянулись еще несколько дней и ночей, проведенных мною в бессознательном состоянии, среди странных видений, где смешивалось прошлое, настоящее и будущее».

Дедушку как бы все время куда-то везла скрипучая арба вечности с двумя громадными колесами, между которыми лежало его обессиленное высохшее тело, а вокруг возникали как бы из пустоты видения отвлеченных понятий, принявших материальные формы, и разных предметов, утративших свою материальность и превратившихся в отвлеченные понятия, терзавшие сознание своей непознаваемостью.

Среди этого хаоса постоянно присутствовала военная треуголка отца времен Двенадцатого года, с плюмажем, она же легендарная шляпа Наполеона, явившаяся вдруг из глубины прошлого, каким-то образом олицетворяя разгром великой французской армии, и тяжелая бурка кавказской войны, давившая тело всеми складками своих горных перевалов и тесных дефиле, откуда с визгом вылетали штуцерные пули турецкого

сорокатысячного десанта, высадившегося в своих алых фесках на Черноморском побережье Кавказа, и битва на реке Цхенис-Цхали, и поспешное отступление Омер-паши, и внезапные налеты мюридов Шамиля — всем этим были тягостные складки бурки, поминутно сползающей, как горные обвалы, с холодеющего тела. Это было также абстрактным воплощением воинской присяги, боевого крещения, производства в офицеры, любовью к родине и спасением Севастополя, обмененного по мирному договору на Карс.

Жажда, томившая его, являлась в виде узкого грузинского кувшина на плече горийской девушки в чадре, поднимающейся по гористой улице мимо миндальных и ореховых деревьев, мимо кустарника барбариса с чугунно-синими, багровыми листьями, мимо плетеных заборов с висящими на них связками кукурузных початков и стручков красного перца...

Затем этот глиняный кувшин, покрытый потом, оказывался на столе посередине сакли, рядом со стеклянной кружкой, в то время как недалеко в духане слышалось как бы церковное пение низких мужских голосов, гортанных и печальных, а невыносимая жажда продолжалась бесконечно, и не было силы встать, подойти к холодному кувшину и напиться.

А затем раздавался скрип сухих деревянных ступенек, слышались чьи-то тяжелые, бесконечно длящиеся шаги, и в саклю входил как бы из непомерно далекого будущего человек в странной одежде, с головой, повязанной аджарским башлыком.

Тягостно и вместе с тем вкрадчиво-мягко ступая чувяками, он подходил к столу, долго рассматривал обстановку сакли: восточный ковер на деревянном ложе, скатерть на столе, сундук, покрытый тканой материей, помятый тульский самовар в углу на комодке рядом с круглым качающимся зеркальцем в траурночерной раме...

Наконец его взгляд останавливался на кувшине с холодной водой.

Его глаза светились неполным светом, как ущербный, умирающий месяц.

Он наливал из кувшина воду в стеклянную кружку, и струя воды зловеще краснела, превращаясь в вино. Как бы совершая некий таинственный ужасный обряд прощания со своим прошлым, человек не торопясь пил из кружки, и пока он пил, вино превращалось в кровь, и человек вытирал серповидные, мокрые от крови усы рукавом своей странной тужурки.

Это видение длилось мучительно долго и заканчивалось тем, что человек с окровавленными усами бесшумно выходил из сакли и его глаз скупое светился, как ущербный месяц, а сухие деревянные ступени стонали под тягостно-мягкими неслышными шагами, в то время как в духане продолжалось церковное пение, и дедушка понимал, что это панихида по унтер-офицеру Гольбергу, растоптанному каблуками майора Войткевича.

«К ноябрю я стал поправляться. Тут получилось известие о выходе дивизии в Ставропольскую губернию по Дарьяльскому ущелью через город Владикавказ. Слабость мешала мне выписаться из госпиталя, а тут еще уговоры товарища моего Добрянского не торопиться».

«В начале декабря, пропустив полк, мы с Добрянским наконец выписались и поехали в полк, который все еще шел да шел где-то впереди нас, совершая заданный марш в Ставропольскую губернию».

«Проехали мы Дарьяльское ущелье, потом и Душет, в тридцати верстах от Тифлиса. Город маленький, ничем не замечательный, кроме своего названия, мягкого и ласкового, — Душет, сочного, душистого, как груша дюшес. Его военный госпиталь содержится в чистоте и порядке. Здесь много больных и раненых из-под Александрополя, где были жаркие бои с турками».

«Поблизости госпиталя — сад, довольно большой и тенистый. В саду гуляют поправляющиеся раненые. У того забинтована голова, у того рука на перевязи, кто опирается на госпитальную палочку, кто прыгает на костыле, вытянув вперед замотанную ногу. И все они были рады, что война, слава богу, кончилась и есть надежда скоро попасть домой, в Россию».

Декабрь ничуть не был похож на зиму, а скорее на теплую, мягкую осень с ясным небом и грустным, невысоким, золотистым солнцем, рисующим на дорожках госпитального сада слабые тени еще не вполне пожелтевшей листвы разных деревьев южных пород.

«Мы с Добрянским очень подружились, как это часто бывает между молодыми офицерами-однолетками,

пролежавшими рядом в одной палате военного госпиталя. Эта полковая дружба заменяла нам и семью, и сердечные привязанности, которых мы оба по молодости лет еще были лишены».

«Желая подольше насладиться свободой, мы не спешили: ехали в день по одной станции, чтобы на каменистой дороге не пострадала ковка лошадей. Идти я не мог: слабость не позволяла, а во время моего лежания в госпитале, оказывается, Горбоконь продал моего коня Дагобера, так что приходилось трястись в повозке».

«До станции Хойшаур мы все время ехали вверх. Вид великолепный: направо горы, покрытые снегом, налево глубоко внизу Терек и зеленая долина, где осетины пасут свои стада, сверху напоминающие букашек».

«...со станции ясно видим Казбек, до половины своей покрытый снегом, а остальная, нижняя половина — зеленая».

«Заплатили деньги за топку печи, так как было очень холодно. Напившись чаю и согревшись, легли спать. Вставши утром, пока готовили нам чай, вышли к церкви полюбоваться оттуда Казбеком, снежная вершина которого была розово освещена восходившим солнцем при совершенной тишине вокруг».

«Картина чудная!»

«В 10 часов утра, после чаю, отправились дальше. Теперь дорога пошла все вниз: справа все те же высокие горы, а слева внизу пенистый Терек. С последней станции Ларс, где оканчивалось знаменитое Дарьяльское ущелье, поехали мы по ровной дороге до самого Владикавказа».

Мог ли тогда знать дедушка, что лет тридцать или сорок спустя по этому же пути, прыгая по каменистой дороге вдоль бешеного Терека, пройдет линейка с осетином на козлах, в которой среди прочих экскурсантов, сидящих в два ряда спиной друг к другу, будет ехать и одна из его многочисленных дочерей — Евгения Ивановна, — совсем еще юная дама в дорожном шотландском саке и войлочной осетинской шляпе, а рядом с ней ее муж, бородатый педагог из поповичей, в холщовой косоворотке, подпоясанный шелковым витым шнурком с кистями, и в такой же войлочной осетинской шляпе — неперменной принадлежности кавказских путешественников того времени. Оба в пенсне, они совершали свое свадебное путешествие по Военно-Грузинской дороге, ошеломленные красотами Кавказа, оглушенные грохотом Терека...

Это были мои будущие отец и мать.

«Приехав во Владикавказ, остановились мы в местной гостинице с внутренней узорно-чугунной лестницей, ведущей во второй этаж, где находились номера».

«С наступлением сумерек, как водится, подавались свечи, но одновременно с их подачей в номере запирались окна и внутренние ставни — предосторожность не лишняя, так как частенько горцы, по неистребимой ненависти к своим покорителям — русским, — воровски пробирались из своих глухих аулов в город и, заметив где-нибудь в окне огонь, стреляли на всем скаку по огню, зачастую убивая кого-нибудь из бывших в комнате».

«Так мы сидели при свечах в нашем номере с запертыми ставнями и пили чай, обмениваясь невеселыми мыслями о том, что хотя война с турками, слава богу, кончилась сравнительно благополучно, так как русским дипломатам удалось обменять Севастополь на Карс, но мир на Кавказе еще далеко не наступил: то и дело восставали горские племена, собираясь под зеленое знамя пророка, поднятое их неукротимым вождем Шамилем».

...Кто держится прямо, кто смолоду воин, во славу ислама сражаться достоин...

«Получив прогоны, мы поехали дальше. День был пасмурный, но не сильно холодный. Проехавши одну станцию, мы остановились ночевать в отдельном доме местных обывателей, который отвело нам станичное правление».

«Таким образом мы не торопясь продвигались по одной станции в день, так как ночью езда не производилась из опасения все тех же горцев. Впрочем, иногда, в экстренных случаях, когда наряжался особый конвой из казаков с пушкой — так называемая оказия, — мы ехали и ночью. Но это случалось редко».

«Таким манером доехали мы помаленьку до города Ставрополя. Была суббота. Давно не слышанный нами

колокольный звон приятно прозвучал в вечернем воздухе и отозвался в сердце, напомнив нам, что мы снова в России».

«Остановились в местной гостинице, где к нам присоединились еще несколько офицеров, отставших от недавно прошедшего здесь нашего полка».

«Первый раз пришлось провести несколько ночей в хорошем здании нам, отвыкшим от подобных удобств за долгое время войны».

«На другой день пошли в комиссариатскую часть интендантства, где к двум часам получили прогоны до м. Медвежьего, места стоянки полка. Другой день мы употребили на покупку необходимого. Затем на третьи сутки выехали не торопясь в путь. Прибыли в местечко Медвежье почти без опоздания, всего лишь на другой день прихода полка. Видно, полк (так же, как и мы) не слишком торопился. Однако командир полка, к которому мы явились, довольно сильно распек нас за долгую езду».

«К счастью, этим дело и кончилось».

«Отвели квартиру довольно далеко от центра местечка. Скучно, грустно было после нескольких недель свободы жить одному с денщиком и тянуть надоевшую полковую ляжку. Но приходилось мириться: назвался груздем — полезай в кузов».

«Через несколько дней командир полка поехал в местечко Песчаное, где были расквартированы полковой штаб и 1-я карабинерная рота. В отсутствие командира жить стало веселее и свободнее».

«Так шли дни за днями, очень однообразно и уныло. Воскресенье давало некоторое разнообразие: поход в церковь, вид людей обыкновенных, а не солдат».

«Вскоре по ходатайству местного общества нашу полуроту перевели в село Привольное, и меня назначили за старшего, так как более не было субалтернов старше меня».

«Ротный капитан Глоба остался в Медвежьем, где был штаб 2-го батальона. С ним жил брат его Андрей, бывший батальонным адъютантом. В Медвежье приехали поручики Евлашов, Витковский — георгиевский кавалер за бой на Чолоке. Оба поручика вместе ездили в близлежащую деревеньку помещика Маклакова, у которого была хорошенькая дочь. Там они иногда проводили по несколько дней, а затем возвращались по домам».

Тут в словах дедушки чувствуется некоторая зависть к двум удачливым поручикам, нашедшим в захолустном Медвежьем гостеприимный помещичий дом с хорошенькой дочкой, сведения о существовании которой не могли не волновать воображение холостого подпоручика Бачея, хотя привлекательность помещичьей дочки была известна ему лишь по слухам. Может быть, дедушка даже был в нее тайно влюблен, так как ясно себе представлял все прелести ни разу не виденной им девушки. Чего не сделает пылкое воображение: однажды упомянутая помещичья дочь ему даже приснилась в нарядном платье с бантиками, с локонами и розовыми пальчиками, которыми она, заливаясь румянцем, открывала кран серебряного самовара, наливая кипяток в стакан с крепкой заваркой, игриво пододвинутый георгиевским кавалером поручиком Витковским.

«Привольное, куда я был переведен со своею полуротою, оказалось селом довольно обширным. Вокруг церкви оно было населено русскими, а вдоль речки, в стороне, жили малороссы из Воронежской губернии, переселенцы. Там отвели мне квартиру в доме богатого старика Лаврентия Максимовича Омельяненко, у которого были жена и дочь-невеста».

«В этой малороссийской части Привольного поселили и моих солдат, которых местные жители разобрали нарасхват. Мужички были зажиточные, и солдатикам жилось хорошо: белый хлеб, пища отменная. Когда же солдаты ходили для хозяев по воду к колодцу или гоняли скот на водопой, то хозяева давали им даже свои кожухи, чтобы служилые не замерзали на морозном степном ветру».

«В конце каждого месяца жителям выдавались квитанции за полученный солдатами провиант. Однако зажиточные мужички почти никогда не предъявляли эти документы ротному командиру к оплате: ротный благодарил жителей и в знак благодарности присылал со своим денщиком ведро казенного спирту. Все были довольны».

«Мой старик Лаврентий не пил водки, и я, бывало, зазывал его к себе и готовил чай и пунш, что старик

любил очень. В разговорах зимнею порою время летело незаметно».

«За пуншиком вспоминалось все мною прочитанное, память у меня была отличная, и все это я рассказывал деду Лаврентию. Вечера такие повторялись часто. Старик очень меня любил. Я отвечал ему тем же».

«Однажды он пригласил к себе в гости местного священника. Время шло в разговорах, участие в которых принимали только мы трое: хозяин, я и священник. Дочка же хозяина Аня, уже упомянутая мною, в своей вышитой рубаше, с бусами на смуглой шейке, сидела молча в сторонке потупив глаза и не пропускала ни одного слова из нашей беседы. Иногда она поднимала свои карие малороссийские глаза, и я ловил ее мимолетный взгляд...»

А вьюга лепила в маленькие окошечки деревенской горницы, отражавшие в неровных стеклах огонек масляной лампочки, повешенной над столом. В трубе завывало. В печке жарко трещали кукурузные стволы и дымился кизяк — весьма распространённое здесь топливо. И, казалось, конца не будет этому вечеру в теплой мазанке, конца не будет этой дружеской беседе, этим мимолетным взглядам карих глаз, уже начинавшим вызывать в дедушке какие-то неопределенные надежды, предчувствие любви и счастья, которые, впрочем, по-видимому, так и не сбылись. Во всяком случае, в записках дедушки на этот счет ничего не было сказано. Впрочем, не надо забывать, что бабушка нередко заглядывала через дедушкино плечо в его тетрадку, так что дедушка хотя и на старости лет, но все же писал осторожно, чтобы не получить головомойку от бабушки...

«В следующее воскресенье священник пригласил к себе меня и старика хозяина, состоявшего при церкви в должности ктитора, или церковного старосты, то есть лица уважаемого и по общественному положению почти равного священнику».

«Мы приехали вечером, часов в шесть, когда по зимнему времени было уже совсем темно и в густой синеве снежной ночи светились окошечки сельских хат».

«В довольно чистенькой квартирке нас встретили поп со своей дочерью, девушкой лет восемнадцати, довольно миловидной, обучавшейся в Ставрополе и в этом году только что окончившей обучение».

«Подали чай. Началось угощение».

«Дочка оказалась очень разговорчивой. Вечер прошел приятно. Это знакомство велось всю зиму: то поп у нас, то мы со стариком у него. В хорошую погоду я стал посещать церковь, до которой от моей квартиры было далеко. Служба мне нравилась, ничего себе, но пение оставляло желать лучшего, оно не отличалось стройностью, так как хор состоял наполовину из мужчин, а наполовину из женщин. Но ничего не поделаешь, по необходимости приходилось мириться и с таким пением».

Дело тут, конечно, было не в пении и даже не в религиозных чувствах дедушки, а в смутных воспоминаниях о церкви в Скулянах и в поповой дочке, аккуратно посещавшей каждую церковную службу, где она, как дочь священнослужителя, стояла близко у клироса.

Надо полагать, дочка попа помаленьку вытеснила из сердца одинокого подпоручика обеих предыдущих дочек — абстрактную дочку помещика Маклакова и дочку квартирного хозяина, старика Омеляненко. Однако обо всем этом дедушка в своих записках осторожно умалчивает.

Не без волнения отправлялся дедушка в своей усердно вычищенной походной бекеше, с кавказской шашкой, в хорошо начищенных сапогах в сельскую церковь, предчувствуя, что сейчас увидит поповскую дочку. Он сразу же находил ее в толпе мужиков в праздничных бараньих тулупах и баб в цветных платках и в сапожках с подковками.

На поповой дочке была бархатная шубка с заячьим воротником и модная ставропольская шляпка, накрытая сверху ковровой шалью, завязанной узлом под розовым подбородком с ямочкой. Дедушка покупал пятикопеечную восковую свечку и, подойдя сзади к девушке, осторожно постукивал свечкой по ее плечу с буфом. Это была обычная просьба передать свечку дальше, с тем чтобы кто-нибудь из стоящих впереди зажег ее и поставил перед иконостасом. Не оборачиваясь, попова дочка брала свечку и ставила ее среди других свечей, пылавших костром. По движению ее руки дедушка чувствовал, что она знает, кто передал ей свечку.

...Она опускалась на колени, крестилась, и дедушка тоже становился рядом с ней по-военному на одно колено, опираясь одной рукой на шашку, а другой мелко, поспешно крестясь, и шепотом говорил в затылок поповой дочки:

— Здравия желаю.

На что она как бы с некоторым испугом отвечала ему:

— Ах, это вы? Какая неожиданность!

У нее было грубоватое, хотя и красивое лицо с черными, как бы мужскими бровями и усиками над верхней губкой.

— Как изволили почивать? — спрашивал шепотом дедушка. — Какие видели сновидения?

— Вы мешаете мне молиться, — отвечала она быстро, вполголоса. — Видела вас во сне.

— Волшебница, — говорил дедушка.

— Нет, нет, я пошутила.

— Обманщица!

— Тссс! — говорила она и начинала прилежно креститься.

После службы они выходили вместе на паперть, и он провожал ее до поповского домика под зеленой железной крышей — она впереди, как царица, а он несколько позади, придерживая локтем свою шашку, чтобы она не болталась.

Попова дочка была всем хороша — образованна, разговорчива, остра на язык, высока, стройна, и дедушка чуть было в нее не влюбился, да помешали ее мужские брови, усики, а также излишняя развязность в обращении, а вернее всего, еще не пришло время ему по-настоящему полюбить.

А то поповская дочка, чего доброго, стала бы моей бабушкой. Но, благодарение создателю, до этого дело не дошло. Довольно и того, что моим дедушкой впоследствии стал вятский протоиерей, отец моего отца.

С поповой дочкой как-то само собой разладилось.

«В феврале вся наша рота была назначена в Песчанку в караул на неделю в полковой штаб. Накануне прошла 1-я полурота с ротным командиром капитаном Глобою, который по моему приглашению остановился у меня ночевать. Я ему устроил ужин и чай с ромом. В 10 часов легли спать. Ночь прошла незаметно. Утром, закусивши и напившись чаю, целой ротой выступили, пришли в Песчанку — местечко большое (есть даже лавки с розничными товарами), но все-таки это не местечко, а скорее обыкновенное большое село. Квартиру нам отвели общую, на конце села, так как середина его была, как водится, занята полковым штабом».

Как читатель, наверное, уже заметил, в записках дедушки часто встречаются замечания о течении времени: время текло медленно, время шло незаметно, дни летели, дни тянулись и тому подобное. Как человек военный, подневольный, исправный служака, лишенный воображения, жизнь свою он ощущал как бы пленником быстрого или медленного течения времени и все события этой жизни добросовестно заносил в свой журнал одно за другим по порядку, как подсказывала ему слабеющая на старости лет память, не отличая важного от неважного. Будучи человеком хотя и начитанным, но неопытным в занятиях беллетристикой, он не покушался на художественность и записывал свои былые впечатления языком протокольным, канцелярским.

Следует сказать, что он писал свои записки не как дневник, а как воспоминания, будучи уже в отставке, незадолго до смерти.

Но для чего он их писал? Ведь не только для препровождения времени. Хотя — как знать? — может быть, и для этого тоже. Вероятнее всего, он писал, как бы исполняя некий долг перед историей, сам того, впрочем, не сознавая.

«Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа, — писал Пушкин в своем „Романе в письмах“. — Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?»

Последнее замечание Пушкина скорее касается не дедушки, столбового дворянина, а меня, разночинца, сына надворного советника по отцовской линии.

«Через два дня по прибытии в Песчанку прислал мне записку прапорщик В., товарищ мой по производству, только что подавший в отставку. В записке своей он писал, что продает коня с седлом за 25 рублей и что местные мужички, узнав о его отъезде, предлагают ему больше, но он считает, что лучше отдать коня товарищу, чем богатому хохлу».

«Я тотчас пошел к В. и, осмотрев коня, не сказав ни слова, дал деньги. Конь кровный, Карабах, стоит гораздо больше: гнедой, не старый, смирный — чего еще надо?»

«Приехав домой, то есть на квартиру, показал я коня денщику, который его одобрил, и мы, укрыв его попоною, полученной в придачу, поставили коня к особой повозке возле лошадей ротного. Купил сена, овса, всего, что нужно. Через два дня конь стал хромать. Я его осмотрел. Оказалось, все дело в том, что конь был давно кован, а мороз ночью сжал подковы. Когда коня расковали, он перестал хромать и весело принялся жевать сено».

Тут дедушке изменяет его эпическая степенность, и он восклицает:

«Конь очень хорош!»

Видимо, лошади были если не страстью, то, во всяком случае, его слабостью, перешедшей по наследству от военных предков, чем и объясняется, что незадолго до смерти, познакомившись впервые со мной, своим двухлетним внуком, он подарил мне славного игрушечного коня — бурого, в яблоках, — Лимончика, о чем я уже, впрочем, недавно писал в своей книге «Разбитая жизнь».

«Через день я был назначен дежурным по караулам. Осмотрев все казармы, вечером, в 9 часов, я был с рапортом у командира полка. Процедура краткая: сказал, что все благополучно, и пошел домой. Так как идти деревней было довольно грязно, то я пошел задами, где было сухо. Верста ходу поздней ночью показалась мне за три. Сельские огоньки в окнах были мне руководителями, по ним я шел как по звездам, спотыкаясь, блуждая со стороны в сторону. Через час, показавшийся мне за два, я пришел таким усталым, что предложенный мне денщиком ротного командира ужин я не принял, а лег спать. Утром рано первая забота — посмотреть коня. Все исправно, конь не хрошает...»

«Через день смена, возвращение назад в Привольное. Ротный задержался на несколько часов в штабе. Рота выступила со мною одним».

«Я поехал верхом на своем новом коне, чувствуя полное удовольствие».

Недаром же прадедушка приучал дедушку в Скулянах к верховой езде на неоседланной лошади.

«Через час догнал нас ротный командир Глоба, и уже до самого Привольного шли под его командованием. В Привольном распустили по домам 2-ю полуроту, а сам Глоба в 2 часа дня пошел с 1-й полуротой далее, в Медвежье, где солдаты явились на свои квартиры».

«Прибыв в Привольное, я со своим денщиком Иваном стал хлопотать, чтобы купить кибитку, так как холода все продолжались. Вместе с тем я стал обучать верхового коня к запряжке, ходить в хомуте и возить сани или телегу. При посредстве старика Лаврентия купил я маленькую повозку, колеса достали особо, оковав их в местной кузнице при посредстве все того же старого хозяина».

«Съездил в Медвежье, купил там новый хомут с вожжами и чересседельником. Возвратившись, стал сам вместе с денщиком Иваном и стариком Лаврентием красить повозку и сделанную к ней кибитку черной краской. Вышло довольно хорошо: не Кибитка, а карета, да и только!»

«После месячного ежедневного обучения конь стал ходить в запряжке смело и успешно. Все это радовало и доставляло мне удовольствие».

По-видимому, кроме военной жилки, в дедушке билась еще хозяйственная жилка, унаследованная от матери.

«Да, чуть не забыл!..» — восклицает дедушка, вспомнив вдруг какую-то забытую им подробность.

«По выезде из Гори я с Добрянским заехали в Георгиевск, попутный город, с тем чтобы из местного госпиталя получить дальнейшие прогоны. Приехав в субботу после обеда, мы заняли отдельную квартиру у местного торговца — русского купчика — и стали ожидать понедельника, чтобы идти в госпиталь за

прогонами. По неимению каких-либо знакомых воскресенье мы провели скучно и томительно».

«В понедельник часов в десять пошли мы в госпиталь получать путевые деньги, на что пришлось употребить часа два. За это время мы тут же в госпитале познакомились с местным смотрителем провиантского магазина; фамилию его теперь уже не упомяну. Он пригласил нас вечером к себе на чай, будучи женатым человеком и имея хозяйство».

«Знакомство было приятно, так как внесло в нашу жизнь некоторое разнообразие».

«Вечером, часов в шесть, мы вместе с Добрянским отправились. Хозяин уже ожидал нас. Познакомились с его молодой женой, очень приветливой и разговорчивой дамой, довольно начитанной и не стесняющейся говорить о разных вещах — даже о литературе! — что меня, признаться, приятно поразило».

Видно, дедушка был о дамах не весьма высокого мнения.

«Через час мы с хозяином и еще одним его знакомым сели за преферанс по четверть копейки, а молодая барынька присаживалась то к одному, то к другому из гостей, ни на минуту не прерывая свой начатый разговор на литературные темы. Около двенадцати сели ужинать. Ужин прошел довольно приятно. Милые хозяева были очень гостеприимны. Часа в два ночи мы распростились с ними душевно, благодарные судьбе за столь приятное знакомство, с тем чтобы утром продолжать свой путь. Мне больше так и не привелось с ними увидеться».

«Спасибо им за гостеприимный прием!»

Дедушка не мог удержаться, чтобы не вставить это ничем не замечательное дорожное событие в свои мемуары. Видимо, эту маленькую радость походной жизни он сохранил в своем сердце на всю жизнь до старости.

Может быть, в лице любезной хозяйки, хорошенькой говорливой дамочки со склонностью к литературе, перед молодым подпоручиком возникло еще одно искушение, в то время когда он, подобно Печорину, вел жизнь странствующего офицера, бессознательно стремясь к встрече с еще не известной ему молодой женщиной, которой суждено было стать моей будущей бабушкой.

Сделав в своих записках это несущественное отступление, дедушка возвратился к прерванному описанию своей жизни в Привольном.

«Спустя неделю после возвращения из Песчанки мне встретилась надобность побывать в Медвежьем. Этот день мне хорошо запомнился, так как я впервые собрался ехать на своем Султане — так звали моего нового коня. Должность кучера исполнял мой денщик Иван. Позавтракавши, собрались ехать».

«При тихой погоде, при небольшом морозце дорога была очень приятна: впервые на собственной запряжке, хотя и не слишком шикарной, но своей!»

«Ах, как все в это утро было хорошо!»

«Заехав к капитану Глобе и оставив у него коня с повозкой, я с Иваном отправились на базар, который находился тут же, вблизи квартиры. Купив что было нужно, мы с Иваном вернулись домой к вечеру. Напившись чаю и поужинав довольно сыто, лег спать. Ротный пришел поздно, где-то был в гостях».

«Утром проснувшись и умывшись, напился я с ротным и братом его Андреем чаю и собрался в дорогу».

«По-прежнему стояла отличная, хотя и морозная погода. Ехали спеша и к заходу солнца достигли своего Привольного. Встреча с хозяином была радушна. Напившись чаю с привезенным ромом, хорошо поужинав, в десятом часу улеглись спать».

«Наступила масленица 1857 года. Привольное зашумело и заголосило из конца в конец разными песнями. Каждый день с утра до позднего вечера по домам местных жителей шло угощение. В четверг устроил прием хозяин мой Лаврентий. Накануне шли приготовления всего вареного. Спирт через ротного я выписал из Медвежьего. Этот напиток хозяин придержал под конец».

«Гости были по всему дому: у меня в комнате преимущественно молодые бабы. Когда подали уже огонь, хозяин велел наливать спирту».

«Это была картина!»

«Кому только ни поднесется рюмка со спиртом, тот или та, выпив залпом, сразу же валились под стол как подстреленные. Угостив и уложив таким образом своих гостей, мой старик, глубоко вздохнув, сказал мне:

— Вот, панычку, теперь никто не скажет, что старый Лаврентий плохо угостил. Угостил добре и под стол уложил».

«Старик Лаврентий не спал всю ночь, обходя лежавших на полу, и в качестве добросовестного хозяина охранял их сон. Много баб свалилось у меня в комнате. Смотря на них, старик качал головою и говорил ласково:

— Вот скаженные бабы, не нашли себе другого места, как только в комнате у моего панычка».

Придерживаясь своего несколько эпически-беспристрастного стиля, дедушка не счел нужным больше останавливаться на подробностях этой сельской карнавальной ночи, и я не знаю, как он отнесся к присутствию местных молодых красавиц, спящих у него в комнате.

Я думаю, дедушка сознательно сократил эту сцену, так как имел обыкновение по мере их написания прочитывать свои мемуары бабушке, что передалось по наследству и мне.

«Чуть свет гости стали просыпаться, бабы стряхивали со своих юбок солому, поправляли на голове гребни, на шеях мониста. Благодаря старика Лаврентия за угощение, они просили рюмочку спирту опохмелиться и, выпив, с поклонами расходились по домам».

«Казалось, наступил длительный мир. Но это только так казалось».

В дедушкиных записках после этого имеется не вполне понятная фраза:

«Конец терпенью настал!»

Но чьему терпению, по какому поводу, что случилось? Не ясно. Можно догадываться, что какие-то горские племена нарушили мир. Снова в лесах и горах зашевелился Шамиль. Но удивительно, что об этом дедушка пишет с явным удовольствием: наконец, дескать, кончилось наше бездействие.

Впрочем, может быть, я не так понял его восклицание.

«Войска свободные есть. Возможность достаточная. Переправу решено совершить в лодках. Орудия были поставлены на высоком берегу для прикрытия переправы. В какие-нибудь три часа переправа совершилась. Пластунов и казаков послали за версту вперед. Затем построили в боевой порядок три полка с артиллерией и двинулись по ровной и безлесной местности. Лес был верстах в четырех вправо и влево, а впереди начинался с реки Адагум и тянулся верст на двадцать».

«Шли не спеша, зная, что к вечеру дойдем до места назначения. На полпути сделали привал. Солнце жгло очень сильно».

«Наш полк составлял арьергард. Обоз всего отряда шел впереди нашего полка. Брестцы составили левый, а крымцы правый фас. Стоя на привале, мы успокоились, видя, что все благополучно и вокруг тихо. Идучи с привала на привал, мы уже не так сторожились. К заходу солнца пришли в то место, где назначено было строить Нижнеадагумское укрепление на один батальон с четырьмя орудиями и провиантским складом».

Видно, кавказская война продолжалась.

«На другой день начальство занялось разбивкой лагеря для каждой части. Пластунов и по 96 человек штуцерных с каждого полка послали за протекающую впереди речку, за которой тотчас стоял штаб отряда с полковником Бабичем. Правую сторону заняли крымцы, левую брестцы. Артиллерию поставили между полками. В тот же день инженеры разбили позицию укрепления, которое следовало нам строить. На следующий же день приступили к его постройке, для чего было вызвано от каждого пехотного полка по тысяче человек».

«Все вокруг закипело. Заблестели на солнце топоры и лопаты. Всюду виднелись солдатские мундиры и рубахи. Заскрипели повозки. Задымились костры. Выросли землянки, покрытые дерном».

«...он настроит дымных келий по уступам гор; в глубине твоих ущелий загремит топора»

«С начала наших работ стали появляться горцы. Было видно простым глазом, как на опушке стоявшего впереди леса устраивались горские батареи из крепостных пушек, положенных на особо насыпанный вал».

«Как только батареи были готовы, горцы открыли по нам артиллерийский огонь. Наши батареи отвечали. Сначала наши солдаты, отвыкшие от ядер, уходили с работы и строились. Но скоро привыкли. Стрельба шла, а работы продолжались. То тут, то там ядра со свистом пролетали над головой и, ударившись в зеленую траву, поднимали черные фонтаны земли. Из наших и горских пушек вылетали клубы порохового дыма. От канонады звенело в ушах...»

«Наступила Пасха».

«На первый день Пасхи работы шли как обычно, а в это время горцы, думая, что мы гуляем, открыли сильнейшую канонаду. Однако увидев, что мы в ту же минуту стали отвечать, замолчали. Спустя часа два повторили, но по-прежнему успеха не имели».

Так происходило закрепление отвоеванных у горцев земель.

«27 апреля мы решили устроить через протекающую впереди реку постоянный мост, с тем чтобы через него можно было перевозить пушки, которые до сих пор при надобности шли вброд. Приступили к работам. Сперва все шло спокойно, только крики и шум засевших в лесу горцев показывали, что враг не дремлет. На эти крики и шум стали со всех сторон сбегаться к лесу горцы, и когда их набралось довольно — подняли стрельбу из пушек и винтовок. Наши люди стали в ружье, артиллерия открыла огонь картечью, пули с визгом полетели через узенькую, как ручей, реку, и горцы были отогнаны, после чего работы по сооружению моста продолжались».

«На другой день переправа была готова, стали строить передовые укрепления на четыре орудия прикрытия. Укрепление состояло из высоко насыпанного бруствера с глубокой канавой; бока закрыты до самой реки плетневым забором».

«С устройством моста почти ежедневно горцы собирались толпами, делали наблюдения и каждый раз были отбрасываемы. Ночью каждый полк высылал команду в 50 человек, при офицере, которая, усиливая дневную цепь, держала караул всю ночь до восхода, солнца. Провести ночь на этом дежурстве стоило немало: вой шакалов, крики горцев в лесу, подозрительные шорохи, далекое ржанье коней, случайный выстрел... Все это приносило немало тревоги. Спать не приходилось. Бодрствуешь всю ночь, присматриваясь, прислушиваясь к малейшему ночному звуку...»

«Пройдет ночь — и слава богу!»

«А то, бывало, приезжают какие-то лазутчики — не один, не два, а целый десяток и более. Тут немедленно надо давать знать в штаб отряда. Приезжает начальник штаба, а если что-нибудь важное, то и сам начальник отряда».

«Несколько раз, будучи в ночном карауле, приходилось мне видеть его. Иногда при перестрелках он, бывало, подавал команду:

— Стать в ружье! Подойти ближе!»

«И, окруженный моими солдатиками, продолжал под пулями выслушивать донесения пластунов и вести переговоры с перебежчиками — разным сбродом, не вызывавшим никакого доверия».

«Приезд пластунов и перебежчиков дозволялся только на наш задний фас, и если он случался часов в 9 или 10 вечера, то в солдатских палатках начинался нарочито шумный разговор, пение песен, смех, шутки-прибаутки. Горцы смотрели и прислушивались, делая заключение, что русские не унывают».

«Картина чудная, особенно в тихую июльскую лунную ночь, когда все вокруг делается как бы сказочным, волшебным и немного страшным. Только, к сожалению, за отсутствием художественного таланта не сумею ее передать во всей красе», — прибавляет дедушка.

«Час и более идут переговоры. В то время, когда старики горцы ведут перед начальником нашего отряда свои неторопливые, лукавые восточные речи, остальные, сидя на конях, внимательно осматривают наш

лагерь».

«Мы, караульные, хорошо это видим, не спускаем с них глаз, держа ружья наизготовку».

«Просьба горцев обычно была относительно прекращения нами постройки укрепления, которое с каждым днем росло и увеличивалось».

«Мы отвечали горцам отрицательно, говоря:

— Ваша вина. Зимние набеги, грабежи хуторов и станиц за Кубанью надоели белому царю. Он приказал построить крепости и вас отогнать подальше».

«Все переговоры были одно и то же...»

«Иногда назначался летучий отряд с артиллерией. Он двигался вперед, уничтожая запасы горцев. При этом велась перестрелка, обычно кончавшаяся нашим успехом. Часа три-четыре двигались со стороны в сторону, жгли сакли, топтали посевы, иногда забирали добро горцев на повозки и возвращались с добычей домой».

Подлинно ужасная, грабительская, колониальная война. Удивительно, как хладнокровно пишет об этом дедушка.

«Получив сведения о готовящемся нашем движении, горцы обычно собирались перед лесом и заводили сильную оружейную стрельбу, время от времени пуская ядра по строящейся крепости. Мы, видя такое сильное скопление горцев, откладывали свое движение, и все оканчивалось одной стрельбой из пушек».

«В сентябре двинулись мы особым отрядом вовнутрь впереди находившегося леса. Горцы прозевали. Мы заняли лес и тотчас начали его рубить. Горцы пришли, но, уже будучи не в состоянии что-нибудь сделать, отступили, очень горюя о потерянном. Таким образом, отведя область артиллерийского огня горцев подальше от крепости, мы обеспечили строительные работы, которые пошли теперь быстрее и успешнее».

«Движения наши за пределы крепости стали повторяться, вызывая каждый раз истребление горского жилья».

«Природа чудная, местность восхитительная явились нашим глазам. Можно было понять, отчего солдаты так сильно отставали».

«Время шло да шло, укрепление возводилось. Батареи, фасы были уже готовы. Строились здания для офицеров, лазарет, казарма, склад провианта был за одним фасом, внутри укрытый брезентом. Сараи, ротные склады были размещены в землянках вне левого фаса под прикрытием крепостного огня и охраняемые в этом месте крутым берегом реки Адагум».

«Октябрь и ноябрь стояли сухие, теплые, и за это время все работы закончились и батальон крымцев с четырьмя орудиями был водворен. Затем с каждого полка было выделено по четыре роты, казачий полк, пластуны, шесть орудий и на 30 ноября назначено движение вперед против левого фаса крепости. Остальным же ротам приказано было идти назад за Кубань. Мы, назначенные по жребию, двинулись за реку влево, а остальной отряд в 8 часов утра пошел на квартиры в станицы за Кубань...»

Сейчас, когда я переписываю и кое-где исправляю записки деда, мне кажется ужасным то равнодушие, с которым он упоминает об истреблении горского жилья, о грабеже имущества горцев, наконец, о вооруженном захвате горских земель. Я вижу прекрасную природу, беспощадно преданную огню и мечу.

Ужасно, ужасно!

Но кто знает, какова была бы судьба России, каковы были бы границы Советского Союза, если бы тогдашняя Россия не победила в этой войне с восставшими племенами, руководимыми знаменитым Шамилем. Говорят, что он был орудием английской, антирусской политики на Востоке. Я в это не верю. Шамиль был патриотом своего народа, защитником своих земель. Но в случае нашего поражения в войне с Шамилем не потеряли бы мы тогда в конечном итоге все Причерноморье? Не попали бы Грузия, Армения и Азербайджан под власть Турции и Ирана, более отсталых государств?

Вероятно, мой дедушка, молоденький подпоручик, ничтожная песчинка в армии, не отдающий себе отчета в том, что происходит в мире, лишенный способности видеть историческую перспективу, жил и действовал

почти бессознательно, бездумно, повинуюсь скорее биологическим, чем историческим закономерностям.

Но, с другой стороны, можно ли знать заранее исторические закономерности?

Одним из позднейших наших поэтов не без яду было написано следующее четверостишие:

«Однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад».

Хотя и считается, что время течет из прошлого в будущее, но человеческая память очень часто делает поправки к этому предположению, ничем, впрочем, не доказанному, так как точно неизвестно, что такое будущее и что такое прошлое. Человеческая память заставляет сознание возвращаться из будущего или даже из настоящего в прошлое или наоборот.

Дедушка в своих записках нередко возвращается в прошлое для того, чтобы восстановить какое-нибудь событие, ускользнувшее из его памяти. Так, например, он вдруг вспомнил в ноябре, что с ним произошло в августе, и вспомнил это уже на склоне лет, перед своим концом:

«В августе, во время стычки при постройке предмостного укрепления, однажды я с товарищем своим Витковским зашли на передовую батарею, где как раз стоял караул какого-то полка. Наблюдая шнырявших между деревьями горцев и воспользовавшись временной тишиной, вздумалось нам потешиться над ними. Теперь, на старости лет, делая эти записи и вспоминая мою далекую боевую молодость, я нахожу большой глупостью и мальчишеством то, что мы тогда проделали вместе с моим дружкой-однолеткой Витковским».

«Пробравшись через батарею между пушек, мы взобрались на бруствер, уселись на него рядом в нескольких шагах один от другого и начали посылать в сторону неприятеля кукиши».

«Расстояние, отделявшее нас от горцев, не превышало 500 шагов. Наши шутки разозлили горцев. Несколько человек в косматых папахах собрались у переднего дерева, довольно толстого, и стали из-за него стрелять в нас. Несколько штуцерных пуль с визгом пронеслось над нашими головами. Мы кубарем скатились с бруствера в ров. Батарея наша ответила горцам залпом из всех орудий. Загремели выстрелы с обеих сторон. На тревогу прискакал начальник отряда. Разобрав, в чем дело, он страшно рассердился и тут же приказал нас, виновников, нарядить не в очередь на работы».

«И поделом!»

Я думаю, следовало бы дедушке и его дружку Витковскому хорошенько надрать уши.

«Однако нет худа без добра: наша глупая выходка показала, что обе стороны не дремлют и бдительно охраняют занимаемые позиции».

«Итак, 30 ноября 1857 года движение наше началось до рассвета. Шли молча, спотыкаясь по неровностям местности. С восходом солнца мы вышли на поляну и построились в ротные колонны, выслав вперед с правой стороны застрельщиков со штуцерами».

«Сперва выстрелы были нечастые, но дальше, когда наши стрелки, поравнявшись с крайними саклями, стали поджигать их имеющимися в роте скоропалительными трубками, стрельба усилилась, загремели и наши пушки».

Что это за скоропалительные трубки? Я думаю, это были картонные пороховые ракеты на палках, которые пускали по горским деревьям для того, чтобы поджигать сакли.

«Идя в колонне, повернувшей налево, я оказался сбоку левого фланга, на виду леса, где шла перестрелка».

«...привозили раненых, которых, перевязав на скорую руку, клали в лазаретные фургоны с красными крестами...»

«Идя вперед и ведя стрельбу, я вдруг почувствовал, как одна пуля ударила в правый каблук моего сапога, так что я как-то невольно дернул ногу вперед и чуть не упал. Через несколько минут другая пуля ударила в мой меховой воротник сзади. Я схватился руками за затылок. Видя это, взводный унтер-офицер Сердюков, старый, седой николаевский солдат в бескозырке блином, сказал:

— Видно, ваше благородие, вас сегодня убьют, недаром ни одна пуля не летит мимо.

— Ничего, братец, — бодро сказал я, — авось помилуется! — А у самого сердце так и сжалось».

«Через несколько минут третья шальная пуля с левой стороны угодила в воротник».

Одна секунда, один шаг вперед — и не было бы ни дедушки, ни бабушки, ни мамы, ни меня самого, ни моего младшего брата Жени в этом чудесном, загадочном, непознаваемом мире.

Не могу себе этого представить.

«В то время загремели наши пушки и усилилась стрельба в цепи. Это отогнало горцев, и пули перестали залетать в роту...»

(Что, прибавлю я, сохранило в этом мире дедушку, и бабушку, и маму, и меня, и Женю...)

«В 12 часов, благополучно миновав открытую местность, отряд стал на привал отдохнуть и поесть сухарей».

Пока дедушка, сидя у походного костра, ест сухари, размачивая их в котелке с кипятком, и, сняв сапог, рассматривает каблук, сбитый черкесской пулей, мне вспоминается одна ночь, когда я, подобно дедушке, скатился кубарем с небольшой высоты под Сморгонью.

Наш взвод — две трехдюймовые скорострельные пушки с масляным компрессором и оптическим прицелом — выдвинули вперед, почти на линию пехотных окопов на самом переднем крае дивизии. Мы пришли ночью на заранее подготовленную позицию, установили орудия с брезентовыми чехлами на дулах и затворах, а сами влезли в глубокие землянки с блиндажами в три наката толстых сосновых бревен и стали устраиваться на ночлег, выставив часовых. В полночь настала моя очередь заступить на дежурство у орудий. Мороз был трескучий, крещенский, и мне дали бараний постовой тулуп, остро-пахучий и теплый, как печь, и длинный, до самого пола, с чересчур длинными рукавами. Обнажив свой артиллерийский бебут — нечто вроде длинного кинжала, холодного оружия нижних артиллерийских чинов, — и взяв его по уставу к плечу, я стал ходить, топая твердыми, сухими, тоже постовыми валенками, возле орудия по твердому, драгоценно сверкающему снегу. Черное небо над бесконечными снегами России мерцало переливающимися крещенскими звездами, и я, живший до сих пор только на юге, был очарован никогда еще мною не виданной красотой северной морозной ночи.

Из-за снежного бугра, у подошвы которого была скрытно устроена наша позиция, время от времени взлетали немецкие осветительные ракеты, обливая местность косо плывущим, как бы лунным светом. От земли до неба стояла торжественная тишина, изредка нарушаемая винтовочными выстрелами. Это наши боевые охранения и патрули перестреливались с немцами. Однако, казалось, это не имеет никакого отношения ко мне — так далеки были мои мысли, так полна была моя душа красотой этой волшебной ночи.

Я взобрался на вершину бугра для того, чтобы увидеть пейзаж во всей его ширине и как бы приблизиться к играющим над моей папашой звездам.

Отсюда открывался еще более восхитительный вид на снежную равнину с темными островами хвойных перелесков.

Несколько осветительных ракет хлопнуло вдали, и яркие их звезды поплыли в небе, облив вершину бугра магическим светом, в котором двигалась моя удлинившаяся тень, плывя по фосфорическому снегу. И в тот же миг я услышал винтовочные выстрелы, и немецкие пули, как стайка птичек со щебетом и свистом, пронеслись над моей головой. Я кубарем скатился вниз, испытал в одно и то же время и ужас смерти, и счастье спасения.

Это было мое боевое крещение.

Впервые со всей очевидностью я понял, что война — это не игрушки и что смерть стережет меня повсюду и может настичь в любой миг.

А между тем ночь была вокруг по-прежнему величава и торжественна, и моя душа, сжавшись на секунду от ужаса смерти, снова горела любовью, предчувствием какого-то неведомого счастья, долгой жизни, восторгом перед красотой мира.

Юности так свойственны возвышенные заблуждения!

Мне тогда и в голову не приходило, что в любой миг могут вдруг встать спрятанные в пустынных снегах

целые армии, миллионы солдат, сотни батарей, огнеметов, аппаратов для пуска удушливых газов — и все это с воем и грохотом обрушится друг на друга по велению единой сигнальной ракеты, красной звездочкой взлетевшей над верхушками мирного белорусского леса, и уничтожит меня навсегда...

Мне было в ту пору едва лишь восемнадцать лет, судьба меня помиловала, смерть обошла стороной, как деда и прадеда, но через четверть века я испытал в последний раз ее ужасное приближение.

Был горячий, безветренный июль на орловской земле. Кругом неубранные поля, истерзанные только что закончившимся здесь сражением. Кое-где поле было выжжено, и низко над землей тянулся удушливый дымок. Несколько мертвых немецких танков виднелось то там, то здесь. Из люка одной из этих обгоревших машин торчала нога в грубом солдатском башмаке. То и дело под ногами попадались кучи стреляных гильз мелкокалиберных пушек. Солнце только что закатилось за дымящийся горизонт, но безоблачное небо продолжало светиться розовым, ровным тоном июльской зари. Я шел по компасу, отыскивая танковый корпус, куда был назначен корреспондентом. Гимнастерка на спине пропотела, и брезентовые летние сапоги покрылись толстым слоем пыли. Луна посередине неба была едва обозначена белым кружком, обещая яркую лунную ночь. Но пока еще был день или, вернее, тот промежуток между днем и ночью, который в средней полосе России в июле так долго тянется в розовом молчании как бы слегка запыленной природы.

Среди тряпья, железного лома, обрывков каких-то бумажек, трупов, раздавленных танками, в некоторых местах мягко голубели цветы цикория и сине-красные васильки, обычная принадлежность русского поля. Орел был еще в руках немцев, но в ходе войны уже произошел роковой для немцев перелом, и началось их отступление. Все вокруг казалось безопасным. Но вдруг я услышал хорошо знакомый звук немецкого бомбардировщика. Он летел на страшной высоте над самой головой, неизвестно куда направляясь и, по-видимому, не представляя для меня — маленькой одинокой букашки, затерянной среди исковерканных орловских просторов, — никакой опасности. И вдруг в тот самый миг, как я подумал о своей безопасности, я услышал на той невероятной, страшной высоте зловещий звук, который, вероятно, никто из фронтовиков не забудет до самой своей смерти: звук оторвавшейся от самолета тонновой авиабомбы. Я прыгнул в ближайшую воронку, как будто бы это могло спасти меня от гибели. Но среди военных существует убеждение, что в одну воронку снаряды попадают дважды в виде редчайшего исключения. Солдаты прыгают под артиллерийским огнем в воронки, сидят там, втянув голову в плечи, надеясь, что снаряд в воронку не попадет... надеясь, но не вполне этому веря, потому что бывали случаи, что и попадал. Я лежал, свернувшись калачиком, на дне воронки, как в кратере вулкана с зубчатыми краями, для чего-то прикрыв голову походным планшетом, в котором носил бритву, мыло, помазок и блокнот с фронтовыми записями. Я понимал, что планшет меня не спасет, но все же крепко прижимал его к фуражке, в то время как мой необычайно обострившийся слух был весь поглощен звуком летящей сверху бомбы.

На войне любой снаряд, любая авиабомба и любая пуля кажутся всегда метящими прямо в тебя.

Я знал это, но в данном случае был уверен, что слух меня не обманывает: бомба падала прямо на меня и не было мне спасения от неминуемого моего уничтожения.

Воображению отчетливо представлялась та с каждым мигом усиливающаяся звуковая линия, которая соединяла меня с падающей бомбой. Звук нарастал и настолько разросся, что все вокруг меня как бы померкло, ужас охватил душу, я понимал, что наступили последние секунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под ужасающий свист бомбы я не увидел, а как бы ощутил не только всю мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и самыми отдаленными. Я каким-то странным внутренним зрением увидел кладбище в Скулянах, о котором тогда еще не имел ни малейшего представления, я увидел Измаил и Браилов, штурмовые лестницы, летящие и дымящиеся бомбы, пылающие сакли горцев, подожженные скоропалительными трубками, в мой каблук ударила штуцерная пуля, кровь лилась по лицу моего прадеда на подступах к Гамбургу, разорвавшийся под Дрезденом снаряд оторвал руку генерала Александра Ипсиланти, и она, эта оторванная вместе с генеральским обшлагом рука, полетела куда-то в сторону вместе с осколками разорвавшейся гранаты; на берегу реки Прут горели кареты петровского обоза; и, тесно прижавшись ко мне, стояли на коленях мои маленькие дети — Павлик и Женечка — и жена, которых я мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний раз в жизни, ужасаясь тому, что через миг ничего этого уже никогда не будет, все это навсегда уничтожится. Звук падающей бомбы, превратившийся уже в нестерпимый визг, вдруг тупо оборвался, где-то в стороне от меня послышался грохот разрыва, и, осторожно выглянув из воронки, я увидел в километре от себя нечто пылающее в клубах черного дыма на небольшом возвышении, где до этого я видел несколько изб. «Моя» бомба разорвалась именно там, а для чего ее туда бросили, я не знал: может быть, там был какой-нибудь склад или, что вернее всего, у немцев на карте была неточно нанесена какая-то цель, казавшаяся им важной.

Бомбардировщик был уже далеко, еле слышен, и вокруг стояла темно-розовая прелестная тишина орловского вечера, и полная луна стала более заметной в зените безоблачного неба.

Во всю длину западного горизонта гремел бой. Это наши войска брали Орел.

Я выкарабкался из воронки, счищая с себя сухую глину и почему-то повторяя неизвестно откуда возникшие в моей памяти строки, каким-то образом связанные с моей военной молодостью и происшествием под Сморгонью:

«Не так ли под напев ветров, прозрачная и ледяная, в спиртовом пламени снегов сгорает полночь ледяная».

Но вернемся к запискам деда.

«Видны были горцы, перебежавшие в дальний лес по пути нашего следования...»

«Отдохнув час, пошли далее. Выстрелы загрели. Запылали сакли, сараи, стога сена и скирды хлеба, подоженные скоропалительными трубками, изготовленными в пиротехнической лаборатории нашего артиллерийского парка, — картонные трубки, туго начиненные спрессованной мякотью черного пороха. Стоило поднести к ним тлеющий фитиль, как из них начинали извергаться фонтаны золотого именинного дождя, сжигая на своем пути все способное гореть: адское порождение невинного дачного фейерверка, который, бывало, зажигали у нас в Скулянах в табельные дни или семейные праздники при хлопанье пробок и звоне бокалов».

«...стали опять приносить на носилках или просто на шинелях раненых...»

«Так шло дело до 4 часов, когда начальник отряда, привстав на стременах и приложив к глазам бинокль, не осмотрел пылающую, дымящуюся, обугленную местность и, с видимым удовольствием разгладив усы, сказал:

— На сегодня хватит. Отбой!»

«Он приказал отозвать назад стрелков и штуцерных, из которых многих недосчитались: они легли там, среди обугленных развалин и догорающих саклей».

«В пять часов пошли назад. Пришли поздно. Палаток уже не было, так как отряд, ушедший на Кубань, забрал их с собой. Под открытым небом развели мы костры, сварили кашу, подсчитали невернувшихся товарищей и легли на голую землю, положив под голову ранцы, укрывшись шинелями и бурками, у кого они были, и заснули тягостным сном под маленькой холодной луной, стоявшей над нами посередине неба».

...той самой луной, которая через много лет после этого стояла надо мной в розовом небе под Орлом, той самой луной, которая много лет раньше светила над прадедушкой под Браиловом, под Дрезденом, под Гамбургом, той самой луной, которая и ныне освещает заброшенное кладбище в Скулянах, его сухую серебристую полынь, его изъеденные временем, вросшие в землю мраморные плиты с разноязычными надписями...

...той самой луной, на которую уже ступила нога человека — разрушителя и созидателя.

«1 декабря в 8 часов утра выступили на Кубань и мы. Пришли к вечеру, и тут же началась переправа, длившаяся часа два или три. Было очень холодно, как верно говорит пословица — „гнуло в дугу“. Наконец переправилась и наша рота. Нам, офицерам, отвели какую-то комнату на почтовой станции. Остальные части разместились тут же невдалеке. Переночевав кое-как на грязном полу, напившись чаю, пошли в станицу Ивановскую, где назначена была зимовка».

«Станица была мне уже известна по командировке прежним летом произвести какое-то следствие. Тогда я стоял в хате у некой Пухинихи, разбитной, веселой казачки».

Что за Пухиниха? Имя, прозвище, фамилия? Неизвестно, об этом дедушка ничего определенного не написал. Пухиниха и Пухиниха. Об остальном можно только догадываться.

Обольстительная казачка. Вероятно, черноглазая. А может быть, просто веселая вдова-старуха.

«Теперь я было опять поселился у нее, но увы! Через некоторое время последовало распоряжение о

сформировании трех стрелковых рот и упразднении 4-го батальона. Страсть начальства к постоянным переформированиям! Беда, да и только!».

«Я получил назначение во 2-ю стрелковую роту поручика Гончарова и перешел жить к нему. (Хороший был человек. Теперь он генерал и командует бригадой.)»

«Да, совсем забыл сказать выше: когда 30 ноября ходили мы в набег против горцев, застрельщиками нашими командовал офицер младше меня — князь Руслев, произведенный в офицерский чин в Мингрельском гренадерском полку за боевые отличия. Очень милый молодой человек, не захотевший идти внутрь России. Он и прапорщик Чиляев — оба произведенные одновременно — через полгода перевелись в Тифлис».

«У Гончарова жилось мне недурно, но скучно. Виделись мы утром за чаем, в 12 часов за обедом, иногда перед вечером, прежде чем по обыкновению отправлялись в гости к полковому адъютанту Иванову, человеку семейному, имеющему бездетную жену. Ивановы жили вместе с ротным командиром Карташовым, женатым на сестре мадам Ивановой, молодой веселой барыне из Одессы».

Мог ли в то время дедушка предвидеть, что у двух прелестных сестер-одесситок мадам Ивановой и мадам Карташовой есть еще младшая сестрица, которой впоследствии суждено было стать моей бабушкой?

«Вскоре мы довольно тесно сошлись с моим ротным командиром Гончаровым. Наслушавшись моих рассказов о Пухинихе, Гончаров захотел и сам побывать у нее».

...Ангел смерти вынул мою душу и унес ее неизвестно куда, вернее всего, рассеял по всей вселенной. Но тело мое, четырнадцать раз раненное во время Отечественной войны, осталось на кладбище в Скулянах...

«Однажды, вечером человек поручика Гончарова подвел к дверям его верхового коня, покрытого, как попоной, длинным кавказским ковром. Мы вместе с поручиком Гончаровым вышли из дома и, усевшись вместе верхом на длинного коня, поехали к Пухинихе».

«Грязь была великая, тьма кромешная, и только шагом на умном коне можно было добраться до цели нашего путешествия».

«Мы застали Пухиниху одну с сестрой. Познакомив Гончарова с сестрами, я сказал, что мы приехали ради скуки, надеясь, что, может быть, здесь нам будет веселее, причем приказал приготовить чай. Пухиниха быстро распорядилась чаем, послав сестру за местными молодыми казачками. Через каких-нибудь полчаса чай был готов и гости пришли, придерживая юбки, задрипанные грязью».

«Начался шум, говор и пение кубанских старинных песен, которые, как известно, по всему казачьему Причерноморью были на редкость хороши».

«Вечер прошел незаметно и весело».

Я думаю, нечто подобное этой вечеринке, но неизмеримо талантливее описал Лев Толстой в «Казаках».

«...собравшись в 10 часов домой, мы с поручиком Гончаровым, сам-друг, прежним порядком поехали верхом на одной лошади, сказав, что в воскресенье будем опять».

«В то время мой Султан стал хромать. Появились мокрецы. Приходилось лечить его, как некогда Дагобера. Лечение шло успешно, но полковой коновал, призванный мною, сказал:

— Проваживайте коня, ваше благородие, но не ездите».

«Совет хороший, но очень скучный. Однако поневоле приходилось ему следовать. Все же в воскресенье мы опять собрались вечерком к Пухинихе. На этот раз мы заехали по дороге в местную лавку и купили мелких сладостей, то есть изюму и каленых орехов. Наше угощение, по-видимому, очень понравилось гостям Пухинихи. Разговоры были веселые, песни пелись чаще, глаза молодых казачек блестели жарче, румяные губы многообещающе улыбались...»

На этом месте описание веселой вечеринки у гостеприимной Пухинихи обрывается, и можно лишь предполагать его продолжение. Во всяком случае, думаю, без жарких поцелуев в темных холодных сенях дело не обошлось.

Но дедушка в своих записках был крайне осторожен.

«Приближалась весна. Стало солнышко пригревать. Черноземная грязь подсыхала, а вместе с тем начались стрелковые учения. Собственно стрельбы, огня, было не очень много, а так себе, для препровождения времени, чтобы солдатики наши, да и мы, их офицеры, не забывали службу. Вместе с тем пошли слухи, что снова пойдем за Кубань, но только на этот раз с другой стороны».

«Это было в конце февраля. А в половине марта получился приказ выступить».

Вот тебе и поездки к Пухинихе, вот тебе и молоденькие казачки, их карие и черные глазки, их жаркие поцелуи в ледяных сенях. Прощайте!

«Солдатушки-ребятушки, кто же ваши жены? Наши жены — ружья заряжены, вот кто наши жены!»

...Да с присвистом, с присвистом...

«Опять забыл написать, что в половине января я с одним офицером выпросился в Екатеринодар, столицу казачьего войска, верст за сто от нашей стоянки».

«Выехав утром рано на санях, мы к вечеру приехали на почтовых. В город въехали на колесах. Началась оттепель, и в городе была такая страшная грязь, что посреди главной улицы мы увидели громадный тарантас, застрявший в грязи».

«Остановились в местной гостинице. Помещение неважное. Но для нас, давно не видевших лучшего, было хорошо. Чай и обед тоже были хороши. Пробыв два дня, накупивши что нужно, рано утром третьего дня отправились домой на перекладных. Снегу стало очень мало, но ехали скоро и к вечеру были дома».

На старости лет дедушка почему-то вспомнил эту ничем не замечательную, даже как бы бессмысленную поездку на два дня в Екатеринодар, как говорится, «за сто верст киселя хлебать».

Догадываюсь, почему эта поездка вспомнилась дедушке. Для каждого, кому хоть когда-нибудь довелось попасть с фронта в тыловой город, на всю жизнь остается в памяти это событие.

Подобное испытал и я в своей военной молодости, поэтому могу себе представить, как два боевых кавказских офицера въезжают на перекладных в тыловой Екатеринодар. Здесь, правда, тоже чувствовались отголоски войны с горцами, но совсем по-другому, не так, как в дальних кубанских станицах, в горных аулах, на просеках, вырубленных в девственных лесах.

Проехал рысью казак-ординарец с казенным пакетом, засунутым за обшлаг рукава, — посыльный из штаба; его конь с трудом выдирает копыта из грязи со звуком хлопающей пробки... Проехали две артиллерийские упряжки, таща за собою пушку — видно, на ремонт в артиллерийский парк. Из казармы слышался хор солдатских голосов, стройно певших «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое» — обычную молитву после вечерней переключки. В церкви благовестили ко всенощной, и над колокольной совсем по-зимнему кружились галки. Дома были одноэтажные, иногда двухэтажные, каменные, особняки. Но попадались и трехэтажные, кирпичные, по-провинциальному затейливые. В окнах их за занавесками, за зеленью комнатных растений — фикусов, рододендронов — уютно светились олеиновые или керосиновые лампы, иногда под цветными абажурами. Мелькали тени, среди которых молоденькие офицеры не без волнения угадывали стройные женские силуэты со взбитыми прическами. В освещенных магазинах виднелись заманчивые товары. В витринах аптек с двуглавыми орлами пылали алым и синим огнем громадные стеклянные графины, наполненные подкрашенной водой. К подъезду большого здания с колоннами — гарнизонного собрания — пробирались гуськом солдаты музыкантской команды с медными трубами, флейтами, тромбонами и тарелками — видно, здесь предстоял танцевальный вечер.

Все это волновало молодых офицеров, предвидевших радости двух- или трехдневной свободы в заманчивом тыловом городе.

«Пошли, потянулись те же однообразные гарнизонные будни, и продолжалось это до половины марта, когда было получено приказание выступить на новую экспедицию. Я был послан с командой в пятьдесят человек хлебопеком, чтобы сохранить сухарный запас».

«Было и тепло и холодно. Когда греет солнышко — тепло. Когда облачко — холодно. Чем дальше шел я со своей командой, тем делалось теплее. К Пасхе пришли в станицу Лабинскую. Дневка на отдых, а потом опять в дорогу. И так далее».

«Наконец пришли к месту назначения, в станицу Прочный Окоп. Станица на крутом берегу реки Кубань, очень укрепленная, имеющая на валу пушки».

«Мы приготовили хлеб и, дождавшись прихода своих, сдали им хлеба, а затем я с отрядом переправился через реку и пошел дальше, но уже с осторожностью. Стоверстный поход с остановками в некоторых вновь построенных станицах ничего дурного не предвещал. Горцы показывались группами не более двух-трех человек и, видя мою вооруженную команду в пятьдесят человек, не нападали, следя лишь только за тем, не отстанет ли кто-нибудь из наших. Зная привычку горцев нападать на одиночек, я строго следил за своей командой».

«Придя в станицу, в которой назначено было очередное хлебопечение, я обратился с требованием в провиантский магазин, а также к квартировавшей здесь роте Крымского полка за некоторыми вещами. Получив все нужное, мы приготовили хлеб, я сдал его своему полку, а затем пошел далее».

«Помню один случай, бывший со мной по дороге. Переночевав в попутной станице, я утром послал унтер-офицера в станичное правление за подводами и стал ждать их прибытия. Возвратившийся унтер-офицер доложил, что подвод не дают без приказа станичного атамана. Это крайне меня взбесило, и я тотчас отправился к станичному атаману. Придя на квартиру, спросил, где станичный атаман, и, получив указание, с маху отворил дверь, идущую прямо из сеней, где на табурете сидел дежурный казак с чубом из-под фуражки, внутрь дома».

«Это оказалась спальня».

«Налево возле дверей на высокой кровати лежала молодая жена атамана что называется дезабилье, то есть совершенно раскрытая, в чем мать родила, и весело о чем-то болтала со своим мужем, станичным атаманом, который сидел возле стола».

«Что называется — табло! Ха-ха!»

«Я, конечно, очень поразился, хотя и не подал виду».

«Раздался женский крик, визг, возня... Лежавшая дезабилье дама укрылась с головой стеганым одеялом, из-под которого виднелся всего лишь один ее хотя и испуганный, но тем не менее довольно хорошенький любопытный глаз, опушенный густыми ресничками».

«Атаман, молодой казачий офицер из немцев, вскочил со стула, но я, как будто бы не замечая поднятой мною суматохи, сказал весьма официальным тоном, что нужны подводы».

«Атаман, вежливо указав рукой на дверь, попросил меня следовать за ним в соседнюю комнату, где, усадив меня на стул, с величайшим, чисто немецким самообладанием стал писать записку в станичное правление, которую, написав, с корректным поклоном подал мне, хотя руки его при этом сильно дрожали. Извинившись за свое невольное вторжение в его, так сказать, семейное святая святых, виной которого был дурак вестовой, указавший мне не ту дверь, я распрощался и удалился, будучи и сам несколько фраппирован этим пикантным происшествием».

«Придя домой, я тотчас послал унтер-офицера с запиской атамана за подводами и, без затруднения получив их, выступил в поход».

Не берусь утверждать, но думаю, что образ обольстительной атаманши неглиже еще долго тревожил воображение дедушки, заняв свое место в ряду жены интендантского чиновника, дочери помещика Маклакова, поповны и всех хорошеньких казачек из числа гостей продувной бабы Пухинихи.

«Через несколько дней я пришел в укрепление Надежное — место стоянки нашего 1-го батальона, где должны были строиться укрепления для станицы Сторожевой, куда должны были прибыть новые поселенцы с Дона. Линейный батальон, тут стоявший, уходил в Пенбабский отряд».

«...занимался печением хлеба. Ничего не поделаешь. На военной службе ни от чего не откажешься...»

«Через неделю пришел наш батальон с полевым штабом. С 25 апреля начал он приемку казарм и церкви, бывшей в Надежном. Линейцы ушли, оставив сдатчика. Казармы четырехротные оказались очень плохи. Канцелярия получше. А офицерские флигеля совсем хороши. Хорош и прочен оказался также дом командира, а также два офицерские флигеля: сбоку одного из них и даже позади через крепостную стену оказался

довольно хороший, хотя и небольшой фруктовый садик на возвышенном берегу реки Большой Зеленчук, через которую был перекинут небольшой мост».

Апрельское солнце сияло, трава зеленела, в ней чернели круглые, маленькие, очень глубокие норки тарантулов, было жарко, и яблони, вишни, груши были осыпаны душистым цветом, так что когда дедушка проходил под ветвями цветущих деревьев, подняв к небу свое узкое лицо с еле пробивающимися усиками и бакенбардами и голубыми глазами, унаследованными от матери, то на его плечи бесшумно слетали розовые, белые, зеленоватые лепестки, а над головой с посвистыванием, как маленькие пульки, проносились пчелы, и трудно было представить, что где-то в горах и лесах прячутся горцы, каждую минуту готовые напасть на станицу.

Душа была полна радости, умиротворения и безопасности. Казалось, что повсюду на земле наступил вечный мир под этим прелестным хрупко-голубым апрельским, не то русским, не то кавказским небом.

«Слева между фасом казарм и офицерского флигеля имелись ворота, открываемые на форштадт, где были построены в одну небольшую улицу дома женатых солдат, огороженные особым высоким плетнем со щелями для стрелков. Плетневая эта стена оканчивалась воротами, выходящими на мост».

«С выступлением из Ивановской я был переведен в 1-ю стрелковую роту капитана Карташова, человека семейного, женатого на свояченице полкового адъютанта Иванова, о чем я, кажется, уже имел случай упомянуть ранее.

Обе семьи жили вместе, занимая три очень большие и светлые комнаты с просторным крыльцом».

«Упоминаю о сем, так как впоследствии это имело влияние на всю мою дальнейшую жизнь»... и на самый факт моего появления на свет, могу добавить я в качестве внука своего дедушки...

«Я вместе с прапорщиком Дмитрием Константиновичем Поповским поселился на форштадте, где и поставили своих лошадей».

«На левой угловой башне, где находилось орудие и откуда был виден передний левый фас, а также ворота форштадта, возле моста на ночь ставились часовые. Впереди укрепления, шагах в шестистах, строили переднюю стенку — два густых плетня в сажень высоту, засыпанные в середине землею. Позади этой двойной стенки устроили низенькую завалинку, также из плетней, набитых землей, так называемый барбот, на который становились солдаты с ружьями в случае необходимости открыть огонь. Такая стена с барботом тянулась на протяжении всего переднего фаса, на пятьсот шагов, имея на углах по батарее с одним орудием, обстреливавшим передний и боковой фасаы. Подобная же стена шла по левому фасу, имея на середине батарею также из одного орудия да укрепления также по правому фасу».

«Впрочем, пока это все выстроилось, прошло довольно много времени, почти шесть месяцев».

Как говорится, время шло, а служба тоже от него не отставала.

«1 мая пришли поселенцы, казаки с Дону. Поставили их на места, назначенные для станицы, разбили кварталы, наметили колышками улицы протянули канаты, и пошла постройка хат. Тут же появились маленькие казачата в ситцевых рубашках, босые, в бараньих шапках и сразу начали ловить тарантулов, опуская в ямки длинные нитки с мягкими восковыми шариками на концах. Тарантул вцепится в шарик, завязнет, тут его и вытаскивают на свет божий — страшного, черного, лохматого, со злыми глазками...»

«Днем солдаты строили стены из плетней и батареи, а также ходили на прикрытие пастьбы — по одной роте, с одним орудием на каждое пастбище. Опасались набегов горцев».

«Жители-новоселы под нашей охраной спешно строили себе хаты, а пока что ночевали кое-как — в шалашах, временках или просто под открытым небом».

«...кроме того, ходили мы на рубку леса — одна рота при орудии и полсотни казаков».

«21 мая получилось приказание выслать сотню казаков с ракетным станком, конвоировать командующего линией генерала Филипсона, прибывающего к нам для осмотра строящейся станицы. Утром рано сотня ушла, сделав предварительно объезд кругом, но не заметила ничего подозрительного».

«Секреты — впереди, в ущельях и наверху. Скот донских переселенцев — молодняк — выгнали на пойму

за передний фас станицы под прикрытием одной роты штабс-капитана Равича, при одном орудии. Возле квартиры командира полка приготовили почетный караул под моим начальством».

«Я был в парадной форме, в маленьких сапогах. Начальство тоже. Приехал Филипсон, принял почетный караул и отправился в станицу».

«...сотня вываживала лошадей на форштадте...»

«Придя домой, я расстегнул тесноватый парадный мундир и сидел на кровати, разговаривая с Поповским».

Представляю себе приподнятое настроение дедушки, который только что в парадной тесноватой форме, в ярко начищенных коротеньких парадных сапожках, в замшевых перчатках, с рукой, лихо взятой под козырек, без запинки отрапортовал приезжему генералу о том, что на линии никаких происшествий не случилось, почетный караул построен, а генерал милостиво подал ему руку тоже в замшевой, но более дорогой перчатке.

«...и вдруг прозвучало несколько выстрелов. В ту же минуту казаки, вываживавшие своих лошадей на ярко-зеленом лугу, замундштучили их и понеслись на выстрелы. Во двор наш влетел денщик Поповского на моем Султане, крича:

— Ваше благородие, беда! Горцы напали, отбили табун и погнали в ущелье!»

«Услышав это, мы с Поповским вскочили как были незастегнутые, схватив пистолеты и шашки, и побежали в станицу. Шум, гам, формируется команда из партизан и посылаются вперед. Пробегая станицу, вижу общую картину: бабы-переселенки повсюду плачут о своих коровушках. Человек двадцать тащат на вожжах какого-то горца в порванном бешмете, без шапки, с бритой головой. Он бормочет что-то неразборчиво, показывая какую-то измятую записку...»

«Вдруг он упал на землю».

«Мгновенно несколько винтовок было направлено на него. Раздались выстрелы. В воздухе блеснули выхваченные из ножен шашки... И человека не стало».

«Оказалось, что это так называемый „мирной“ горец, приехавший вместе с генералом Филипсоном и заскочивший несколько вперед от генеральской свиты. Обезумевшая толпа не рассуждая схватила его и потащила на вожжах в штаб отряда, добравшись до которого он был бы спасен. Но, на грех, он споткнулся, упал — и всему конец!»

«На безумные лица казаков страшно было смотреть. Они наводили ужас».

«Я побежал дальше и, наконец нагнав роту, пошел с ней как был в расстегнутом парадном мундире и коротких парадных сапожках».

«Выстрелы впереди раздавались весьма часто...»

«Между тем дело было так: горцы, подкравшись к нашему секрету, моментально его изрубили, а затем в числе шестисот всадников понеслись на станицу, охватывая кольцом разбегающийся скот, который по тревоге барабанов и горнов стал сгоняться своими погонщиками. Пока, поймав одного, ловили другого, подоспели горцы и стали рубить поводья, угоня лошадей; сопротивлявшимся же погонщикам рубили напрочь головы. Все это происходило на глазах генерала Филипсона, который со всем своим штабом стоял в двадцати шагах перед возводимой плетеной стеною».

«75 человек роты Равича стояли на месте, охраняя пушку. Двадцать горцев, выпалив из ружей, пронеслись из одного ущелья сквозь стадо вперед, в другое ущелье. Весь скот — лошади, волы и коровы — шарахнулся за ними, а остальные 580 горцев — сзади, отстреливаясь, поскакали во всю прыть. За ними в погоню выскочили казаки — человек восемьдесят из сотни. Они нагнали горцев уже во втором ущелье. Но что они могли сделать против 580?»

«Пехота, бывшая на работах перед нападением, ушла в укрепление Надеждинское обедать. Выскочив по тревоге в одних рубашках, с ложками за голенищами, они побежали преследовать горцев, но, конечно, не догнали. Впереди в пыли мелькнули только плоские папахи, похожие на вороньи гнезда. Конный пешему не товарищ».

«Для того чтобы пересечь путь горцам, мы, пехота, взяли вправо и на страшной высоте, по крутизне,

надеялись перерезать горцам путь. Страшно устав, оборвав всю обувь, мы часа через два перевалили поперечные горы, но с высоты увидели, что горцы далеко впереди. Тут мы остановились, вытащили из болотного провала брошенную горцами корову, принадлежащую нашему батальонному командиру подполковнику Клостерману».

«Возвратились в станицу: везде уныние, рассказы о разных случаях, бывших в течение этого страшного часа. Вот как прошло 22 число прекрасного солнечного майского дня».

На всю жизнь остались в памяти дедушки изрешеченное пулями, изрубленное шашками тело «мирного» горца, по ошибке убитого озверевшими казаками, и две окровавленные головы погонщиков, снесенные горскими шашками, острыми как бритвы. Эти даже не отрубленные, а как бы напрочь мгновенно срезанные головы катились по яркому лугу поймы, где еще совсем недавно казацки ребятишки так беззаботно ловили тарантулов.

«Того же числа в 4 часа Филипсон уехал в Ставрополь. Все пошло своим чередом: работы, пастьба оставшегося после набега горцев скота, хождение в лес и т. д.»

«Через неделю приехал военный следователь...»

«Надо еще сказать, что после 22 мая полковой квартирмейстер штабс-капитан Рубин, вздумав услужить командиру полка, отдал приказ, что во время перестрелки в тот несчастный день была убита 41 казенная лошадь и для осмотра этих убитых лошадей назначается комиссия в составе подполковника Мокреца, меня и прапорщика Поповского. Комиссия должна была представить акт. Это было через неделю после набега горцев, и мы, ходившие в это время на рубку леса, видели несколько костей животных, не более. Но как же нам следовало поступить, если приказом, назначавшим нас в комиссию, мне и Поповскому был прислан подлинный акт, где были прописаны все кони — числом 41, — будто бы убитые. Акт этот был уже подписан Мокрецом».

«Думали мы, думали с Поповским, ничего не придумали, кроме как взять да и подписать акт, что мы по своему легкомыслию и сделали».

«Полк, получив такой акт, сейчас же представил его комиссариатской комиссии с просьбой отпустить деньги на покупку новых лошадей».

«Через неделю приехал следователь, полковник, — забыл его фамилию — и приступил к делу. Сначала все шло хорошо, но неделю спустя следователь с некоторыми нашими офицерами вздумал покутить, что по кавказскому обычаю было не, в редкость. Когда в полночь шум кутежа стал разгораться, подполковник фон Клостерман, который оставался за командира полка, уехавшего на воды в Пятигорск, не мог перенести этого шума. Он вышел во двор укрепления и стал кричать на офицеров, кутивших со следователем. Произошла ссора между фон Клостерманом и следователем. Офицеры разошлись. Но дело приняло дурной оборот».

«На другой же день мы, комиссия, получили дополнительные вопросы: указать отряд, сопровождавший нас при осмотре убитых лошадей, причем назвать людей отряда поименно для опроса, при каких именно обстоятельствах производился осмотр убитых лошадей».

«Получив такие запросы, мы с Поповским вдвоем пошли к Мокрецу спросить, что делать. Он ответил нам:

— Не знаю, что хотите, то и пишите».

«Вот те на!»

«Придя домой в свою палатку, мы написали, что осмотра убитых лошадей не было, что приказ отдан задним числом, были ли убитые лошади — не знаем: готовый акт был прислан нам из полковой канцелярии, и мы подписали его».

«Представив рапорты, мы стали ждать, что будет, зная хорошо, что ничего доброго не будет».

«Скоро следствие кончилось, следователь уехал».

«...несколько раз была тревога: горцы подходили, мы их прогоняли; ходили в лес на рубку. В конце октября вышла колонна в лес. Клостерман был за старшего, я — батальонным адъютантом. Рубка прошла спокойно. К вечеру пришли домой. На дороге сломалась ось у двух повозок, взятых нами у переселенцев. Клостерман приказал оставить их на месте с пятью казаками конвоя...»

«С заходом солнца стало холодать. Ветер из ущелья сделался порывистее. Между тем поправка осей замедлилась. Пять казаков, два подводчика и я — вот все, что было в диком ущелье. Положение не из приятных. Наконец оси исправили, и мы тронулись. Часов в 9 вечера были уже дома. Явившись к Клостерману, я рапортовал о благополучном прибытии».

«Однако меня, видно, сильно продуло в ущелье. На другой день я почувствовал какую-то слабость и отсутствие аппетита, но ничего не предпринял, врачу не сообщал, а так промаялся».

«Прошла неделя, а состояние мое становилось все хуже и хуже. Пригласил доктора Родзевича, который прописал мне какую-то микстуру и сказал, что у меня была просто лихорадка, но кто его знает, может, начнется и тиф».

«Подождем!»

«На другой день не лучше. Лихорадки как будто нет, а силы мои все убывают. Последовал приказ отправить меня в Ставрополь в больницу. Доктор Родзевич явился и сказал, что он меня записал. Надо собираться!»

«Предстояло ехать верст восемьдесят с оказией, то есть при казачьем конвое с пушкой, так как по дороге все еще пошаливали горцы».

Таким же способом и примерно в тех же местах езжали Пушкин, и Лермонтов, и Лев Толстой. Езжал и мой дедушка.

«Меня собрали и, уложив в мою повозку, отправили при первой оказии. При мне был денщик Иван, который ухаживал за мной, как нянька».

«Спасибо ему! Никогда не забуду!»

«Во время езды мне было легче, но при остановках ужасно нехорошо. Ночевали возле укрепления станицы Каменный Мост. Ночь прошла слава богу. Повезли далее. Все дурно, все хуже и хуже. Аппетита никакого. Тошнота. К вечеру приехали на Кубань в станицу Баталпашинскую».

«Мне все хуже и хуже. Почти уже ничего не соображаю, живу как в тягостном тумане».

«После Баталпашинской езда уже одиночная, без конвоя. Оказия кончилась. Не страшно: река разлилась широко, горцы не нападут. Выехав из упомянутой станицы, я впал в бесчувствие. Мой бедный Иван вез меня далее, останавливаясь на ночлег в попутных станицах. Не помню, на какой день достигли мы Ставрополя. Не помню даже, как приняли меня в госпиталь. Смутно помню лишь, как на другой день Иван отправился обратно в отряд, а меня осмотрел дежурный врач, сказав, что нет мне спасения и нужно к вечеру выписать меня в покойницкую, ибо к вечеру я непременно умру».

«Так бы со мной и поступили, если бы не случившийся тут мой товарищ юнкер Русанов, который буквально вымолил у доктора оставить меня в палате до завтра — может быть, я очнусь. Доктор после долгих пререканий согласился. Я остался в палате. В полночь пришел в себя, простонал, но ничего не мог выговорить: от сильного жара потрескался язык и я был не в состоянии произнести ни одного слова. Подошел фельдшер. Я показал ему на свой язык. Мои открытые глаза, движение руки показали фельдшеру, что кризис миновал и теперь нужно только поддержать организм, который сильно ослаб».

«Помазав мне язык кисточкой с разведенным медом, фельдшер стал ободрять, успокаивать меня. В 10 часов утра пришел доктор и очень удивился, что я жив. Прописавши мне какую-то микстуру, он ушел, причем у меня создалось такое впечатление, что он не совсем доволен тем, что я как бы не подтвердил своей смертью его предсказания».

...так сказать, подорвал его авторитет в глазах низшего больничного персонала...

«К моей койке стали подходить разные юнкера, бывшие в палате; подошел фельдшер; начались расспросы, разговоры, но я только пожимал плечами, будучи не в состоянии пошевелить распухшим, потрескавшимся языком».

«Через неделю мне стало лучше. Я уже мог произнести несколько невнятных слов».

Тут дедушка прибавляет свою любимую фразу:

«Так тянулось время...»

«Через месяц появился аппетит и вполне здоровый сон. Я быстро поправлялся».

На этот раз неосознанная попытка дедушки хоть на несколько дней укрыться от тягот походной жизни, от неприятностей, связанных с подписью акта насчет убитых лошадей, подкинутого ему жуликоватым интендантом, желание освободить свою пленную мысль от принудительных представлений, оказались чуть ли не роковыми: с кавказской лихорадкой — малярией — не шутят. Дедушка чуть не угодил в мертвецкую, откуда вряд ли бы уже выбрался живым. Он чудом вернулся к жизни. И, находясь между жизнью и смертью, в том ужасном и вместе с тем блаженном состоянии как бы душевной невесомости, он в своем погасающем воображении заново переживал кровавые события, о которых, уже на старости лет, он так безыскусно и так правдиво поведал в своих записках, нацарапанных плохо разбираемым почерком. Ничтожная песчинка среди великих и малых исторических событий XIX века, он жил общей армейской, ничем не замечательной — временами кровавой, временами безумно скучной — жизнью, которая, как всякая человеческая жизнь, всегда достойна художественного изображения хотя бы единственно для того, чтобы потомки имели достоверные свидетельства о жизни своих отцов, дедов и прадедов.

В истории человечества не бывает незначительных событий.

...Отпущенный дедушкой обратно в свою часть, ехал денщик, старый, еще николаевский солдат в бескозырке блином, в шинельке, подбитой ветром, с седыми усами и бакенбардами, из которых высовывался колюче-бритый солдатский подбородок, ехал среди причерноморских степей, в виду предгорий Кавказа, где все еще шумели незамирные племена, трясясь на попутной фурштадтской повозке, и время от времени вытирал рукавом слезу, повисшую на усах: он не чаял уже когда-нибудь увидеть своего господина, умирающего в ставропольской больнице...

«Не за горами уже было то время, — читаем мы в книге французских историков Лависса и Рамбо „История XIX века“, — когда великий героизм русского народа, проявленный им во время всех войн XIX века, в которых участвовала Россия (...и в которых участвовали мои прадед и дед...), должен был сказаться в вооруженной революционной борьбе против своих хищников и своих интервентов...»

Предки мои, проливая кровь от дельты Дуная, от Добруджи и предгорий Карпат до Батума и Карса, героически сражаясь в Севастополе, подобно Петру, давшему России выход в Балтийское море, окончательно закрепили за Россией громадную полосу Причерноморья, навсегда открыв для нее путь в Средиземное море, от которого она до тех пор была отрезана турками.

Впрочем, если читателю все это неинтересно, если его до сих пор не увлекла судьба молоденького кавказского офицера, бессознательно совершающего свою более чем скромную, но все же историческую роль русского воина, то лучше бросьте эту книгу, так как вы ничего не найдете в ней особенно любопытного, кроме, быть может, истории женитьбы моего деда, а также участия прадеда в сражениях достопамятного Двенадцатого года и некоторых моих личных воспоминаний о первой мировой войне, участником которой я был.

«В конце ноября я узнал, что наш полковой командир полковник Чихачев, прибыв из Пятигорска и направляясь к своему полку, остановился в Ставрополе. Я пошел явиться к нему. Он встретил меня приветливо, советуя полежать еще в госпитале, но я сказал, что думаю поправиться среди своих боевых товарищей в полку и потому уже подал рапорт о выписке из больницы».

«Чихачев пожал плечами: редкий случай, когда офицер отказывается несколько лишних недель пролежать в госпитале. Вероятно, у меня вид был очень жалкий, потому что полковник Чихачев, посмотрев на мое пожелтевшее, исхудавшее лицо, измученное малярией, предложил мне займы денег. Я поблагодарил и отказался, сказав, что я не играю, не пью и деньги у меня есть. Вновь пожал плечами и усмехнувшись, Чихачев простился со мной».

«Хотя день был ясный, но морозный, вдыхать не комнатный, а открытый воздух было приятно. Обрато я пошел уже пешком, почти не чувствуя усталости. Силы мои заметно восстанавливались. По дороге я зашел в лавку, купив на дорогу чаю, сыру, сахару, сухариков».

Дома приятно было рассматривать, разложив на больничной койке, покупки, аккуратно упакованные лавочником-армянином в грубую оберточную бумагу и крепко перевязанные тонким шпагатом. Приятно было извлечь на свет божий небольшой цыбик с латунной застежкой, обклеенный бумагой с разноцветными картинками, где в середине в свинцовой оболочке хранился душистый китайский чай. Приятно было держать

в руках тяжеленную литую сахарную голову, выглядывающую из синей толстой бумаги, как снежная верхушка Эльбруса. Сухарики аппетитно шуршали в пакете, а красная головка голландского сыра с оранжевым разрезом источала тонкий запах, возбуждавший аппетит. Ямайский ром булькал в толстогорлой черной бутылке, и ярко-желтые лимоны распространяли вокруг свой свежий аромат, тут же смешавшийся с надоевшим запахом больничной карболки.

«Я почувствовал себя после прогулки по городу совершенно здоровым, бодрым и был очень доволен, получив в тот же день разрешение выехать в полк, к товарищам, без которых я уже, признаться, соскучился».

Вот как быстро меняется на военной службе настроение!

«Пообедав с аппетитом (дедушка никогда не упускал случая отметить этот факт) и поговоривши на сон грядущий с юнкером Русановым о том о сем, в последний раз я лег спать на свою надоевшую мне госпитальную койку. Утром, часов в восемь, явился я в контору госпиталя, получил прогоны, пообедал пораньше и, в час дня выехав, прибыл на следующий день в станицу Б., где стал на квартиру, ожидая прихода оказии».

«Через несколько дней оказия пришла, и я, примостившись на одной казенной полковой подводе, где, кстати сказать, везли деревянный ракетный станок, напомнивший мне одну из наших стычек с горцами, когда в толпу черкесов летели, шипя, огненные змеи наших боевых ракет, зажигая плоские крыши саклей, поехал шагом, рассчитывая к вечеру быть во вновь построенной станице Исправной, где стоял 2-й батальон под командованием Войткевича, того самого офицера-зверя, который недавно на моих глазах насмерть забил сапогами больного малярией унтер-офицера Гольберга, о чем я уже упоминал в этой тетрадке...»

«Ужасное воспоминание!»

«К вечеру пришли на место. Хотя было неприятно-холодно, но это способствовало более скорому ходу конвоя: чтобы согреться».

«Я остановился у офицера Анатолия Васильевича Горбоконя. Это был мой лучший товарищ, который обрадовался, что я жив. Долгий вечер прошел в разговорах с милейшим Горбоконом. Наутро я собрался в дальнейший путь в свое Сторожевое. Горбоконь дал мне своего Бурого, на котором я и поехал, а также послал со мной своего денщика, чтобы потом привести коня обратно».

Молодцевато сидя в казачьем седле, дедушка ехал то шагом, то рысью, и вокруг него раскрывался знакомый пейзаж с белыми вершинами Кавказского хребта, откуда потягивало холодком.

«Прибыв в Сторожевое, я вступил в должность свою батальонного адъютанта. Еще до этого, лежа в госпитале, я прочел в старых номерах „Русского инвалида“ о производстве меня в подпоручики 27 мая 1858 года, а в декабре по прибытии в полк узнал о своем производстве в поручики 10 ноября».

«В полку я нашел все благополучно. Надел новые погоны с тремя звездочками, адъютантские аксельбанты и почувствовал себя настоящим боевым кавказским офицером. Мне дали одну комнату во флигеле укрепления. Своего Ивана вместе с Султаном я устроил невдалеке. Иван, со своей вечной полуобгорелой трубочкой-носогрейкой в желтых зубах, очень мне обрадовался, не надеясь уже меня видеть в живых».

«...сильная сыпь появилась у меня на теле, но доктор и полковой фельдшер сказали, что это ничего: причина тому — слишком ранняя выписка из госпиталя и поездка по холодной погоде. Я просидел безвыходно в комнате месяц, и все прошло».

«2 февраля по ходатайству Войткевича я был назначен командующим 6-й ротой — за больного капитана Завадского, вскоре умершего».

«Прибыв к месту стоянки 6-й роты в станицу Исправную, я остановился на квартире по главной улице в угловом доме, у казака из донцов. Кормили меня там за 5 рублей в месяц очень сытно и довольно вкусно».

«Шло время незаметно», — отмечает дедушка по своему обыкновению.

«Так как я состоял командиром роты, а в роте больше не было офицеров, то приходилось раз в месяц ходить с двадцатью человеками в караул для охраны Каменного Моста. Там было два орудия. Артиллеристы при них жили постоянно. Стоянка на Каменном Мосту была скучная, однообразная. Появление горцев иногда разнообразило жизнь. Тревога, стрельба из орудий — вот и все развлечение, да еще, пожалуй, приход оказии,

получение провианта».

«В конце марта мне пришлось идти на Каменный Мост на смену Русова. Он прислал мне записку с просьбой, чтобы я приехал на его коне, диком горце. Я согласился. Человек Русова привел мне коня, и я спокойно на него сел. Но только что я тронул его, чтобы ехать, как он стал бить задом и становиться на дыбы. Потом в один миг повернулся назад и, брыкаясь и „становясь козлом“, помчался в конюшню с низкими дверями. Видя неминуемую смерть и не будучи в состоянии удержать дикого горца, я сбросил стремя и опрокинулся назад. Упал я хорошо, но у меня отнялись ноги...»

«...поволокли меня на квартиру, где доктор тотчас бросил мне кровь, поставил 10 банок, и к вечеру я оправился. В караул пошел другой офицер».

«В апреле на Пасху был такой случай: несколько человек горцев, все из так называемых абреков, то есть „обрекших себя на смерть“, тихомолком проникли через всю нашу линию к Кубани и возле станицы Невинномысской бросились на грабеж хуторян. По поднявшейся тревоге со всех сторон на выстрелы полетели казачьи сотни. Горцы, видя неудачу, пустились наутек, приближаясь к нашей линии. Донские сотни, видя, что горцев немного и что их уже преследуют другие, остановились и стали возвращаться домой. Сотня же нашей станицы, приняв горцев, преследовала их не отставая, так как и тем и другим путь был один».

«Недалеко от станицы горцы, видя, что им не уйти, бросились в соседний лес, в глубокую балку вроде ямы, поросшей лесом».

«Во время перестрелки один казак, оступившись, полетел вниз. Горцы заметили его — упавшего, — бросились к нему и начали рубить его шашками, тем самым совершенно открыв свое присутствие. Наши казаки, видя ужасную гибель своего товарища, озлились, начали стрелять залпами из всех ружей, которых было у них более пятидесяти».

«Дело кончилось».

.....

«Убитые горцы были: три старика с седыми короткими бородами, один средних лет, а два — совершенные юноши лет по двадцать. Лица их, вымазанные кровью и вываленные в пыли, со стиснутыми зубами, — кроме окаменевшей злобы, ничего не выражали».

«Все это было неопишимо ужасно, переворачивало душу...»

«24 мая я сдал роту прибывшему из России нашему капитану Силину, а сам отправился опять в Сторожевую принять должность полкового квартирмейстера от капитана Рубина, едущего в Пятигорск. Прибыв в Сторожевую, я за неделю принял должность, после чего Рубин уехал, а за ним вскоре и командир полка полковник Чихачев, любивший лечиться на водах».

«Забыл еще сказать: в декабре 1858 года праздновали у нас два праздника: полковой и именины Чихачева. Будучи назначен ассистентом к знамени, я простоял в полной парадной форме, в коротких сапогах в церкви на молебствии, окруженный облаками ладана, блеском священнических облачений, штаб-офицерских эполет, кострами свечей, оглушенный хором наших солдатских, горластых певчих».

«После молебна вместе со всеми другими я отправился на обед к Чихачеву. Обед был хороший. Все привезено из Ставрополя. Кто играл в карты, тот сел за зеленый столик. А я с Горбоконею, не пившие и не игравшие, сейчас же после обеда отправились домой, где за стаканом сладкого чая провели весь вечер».

«Горбоконею ночевал у меня».

Из этой записи опять-таки явствует, что дедушка мой не пил и не играл: среди кавказских офицеров это было большой редкостью.

«В начале марта 1859 года, будучи уже ротным командиром, поехал я вместе с другими офицерами на блины к Чихачеву. Ехали целой компанией, человек двенадцать. Горбоконею не было, он в этот день дежурил по батальону. Обед начался в 12 часов, и через два часа встали из-за стола. Кто были любителями выпить или играть в карты, те, как водится, остались, а несколько человек нас — не пьющих и не игравших — ушли».

«Распорядившись, я оседлал своего верного Султана и поехал домой, то есть в Станицу Исправную».

Погода хотя и холодная, но приятная. Надышавшись за обедом у Чихачева блинного чада, табачного дыма трубок и папирос, я с наслаждением летел во весь опор, слыша, как подковы шелкают по кремнистой дороге, изредка высекая искры. Доехав до первой переправы и оглядевшись кругом, я приготовил свои пистолеты: луч холодного солнца скользнул по вороненой стали граненых стволов. Переправившись вброд через речку, я поехал рысью под горою, за которой были аулы горцев, так называемых „мирных“. Но не дай бог попасться этим „мирным“ в одиночку».

«Слыша крик, шум в аулах, я пришпорил Султана еще крепче и понесся во весь опор, сжимая в руке пистолет со взведенным курком. Подъехав на версту к Каменному Мосту, я попридержал Султана, перевел его на шаг, давая немного отдохнуть после скачки, а затем снова пустил во весь опор, и за мною во весь опор неслась по небу ущербная луна. К вечеру был уже дома, хотя и порядочно приморил коня. Более часу пришлось его потом вываживать».

«...много всяких случайностей, но всего за 40 лет не припомнишь...»

«...2-й и 3-й батальоны выступили: первый на постройку новой станицы Большой Зеленчукской, а второй для постройки другой станицы, служащей как бы охранением нашей Сторожевой».

«Переселенцы (тоже с Дону) прибыли одновременно с батальоном и начали постройку. Были при этом разные перестрелки. Самая большая случилась 24 числа, когда зеленчукская сотня делала утренний объезд.

На нее напало более 600 горцев. Сотня, отстреливаясь, отошла к станице, где ее поддержал батальон».

По-видимому, предполагаю я, это было одно из последних боевых действий организованных горцев, так как примерно около этого времени, а именно 13 (1) апреля, наши войска заняли резиденцию вождя горских племен знаменитого Шамиля аул Ведено, из которого Шамиль бежал в свое последнее пристанище — высокогорный аул Гуниб, где 25 августа по старому стилю и был взят в плен.

«В начале июля прибыл к нам новый командир полка Петр Васильевич Шафиров из Брестского полка: маленький, толстенький, неженатый. Вслед затем был получен официальный приказ по армии об отчислении Чихачева. Началась сдача полка».

«Забыл сказать, что немного ранее этого получилось распоряжение продать вещи и имущество умершего капитана Завадского. Аукцион устроен был на дворе Надеждинского. Я купил тарантас покойного капитана и некоторую сбрую. Свою же кибитку, о которой упоминал раньше, я продал. Тарантас оказался совершенно исправным. Я поставил его вместе с полковым обозом...»

Заканчивалась мучительно долгая, кровавая война по завоеванию Кавказа, а молодой поручик, мой дедушка, наряду со своими служебными ротными делами не забывал обзаводиться собственным хозяйством, как бы предчувствуя близкий конец холостой жизни, хотя знакомство с будущей супругой еще скрывалось в туманном будущем.

А тем временем полковая жизнь, как любил часто упоминать дедушка, «шла своим порядком».

«Получился приказ о переводе князя Руслева и Чиляева в войска города Тифлиса, куда они оба после прощального обеда и отправились».

«С 600 выбранных солдат в кавказскую армию послан был мой друг поручик Горбоконь, о котором мне еще придется много раз упоминать. Перед самым своим уходом Горбоконь продал мне своего бурого коня. Таким образом, у меня было уже два коня и тарантас».

Знал ли дедушка, что когда-то в отдаленном будущем его внук, маленький мальчик с круглым японским личиком и жесткими черными, коротко остриженными волосами, будет запрягать в опрокинутый стул своих игрушечных лошадок Лимончика и Кудлатку, как бы повторяя небольшой эпизод из жизни своего деда?

«Стал приучать бурого ходить на пристяжке».

«Время шло, а с ним приготовления к выступлению. Ждали только прихода резервного кавказского батальона. Сходил я с колонною на каменноостное укрепление, где получил крупу и муку для десятидневного запаса. По приходе назад наши роты стали печь сухари, старую крупу расходовать, а новую сохранять на поход. 12 июля в сильный дождь пришли резервные. 23-го производилась сдача им наших позиций. 24 июля в 12 часов мы выступили на Каменный Мост».

«До выхода произошла продажа некоторого имущества Чихачева. Я купил его старого толстого верхового коня и шлею — за 10 рублей, теперь у меня были тройка и тарантас!»

«Ехать можно!» — в восторге восклицает дедушка, коего мечта о собственной тройке наконец осуществилась.

«Батальон шел впереди, а мы, штабные, ехали позади. (Дедушка на своей тройке!) Переход был небольшой, всего 10 верст. Дело шло к вечеру. Луна освещала дорогу. На Каменном Мосту ночевали. Батальон впереди выставил цепь, а мы с экипажами стали под стенами укрепления. Ночь прошла тихо. Луна сияла. Утро наступило ясное. В 8 часов пошли далее. На Каменном Мосту к нам присоединился 2-й батальон. В станции Кардафской присоединился также и 3-й батальон. Отсюда мы пошли целым полком. Шли с осторожностью, выставив сторожевое охранение, до Прочного Окопа, где, перейдя реку Кубань, сдали все оружие и далее шли с палочками».

«За несколько станций от Прочного Окопа наш полк догнал Горбоконя, вернувшийся из командировки. Шафиров, я, Войков и еще некоторые другие офицеры гуляли по селу, наслаждаясь предвечерней прохладой и любуясь далекими горами с их снежными вершинами, как вдруг явился Горбоконь. Отрапортовав Шафирову о своем благополучном прибытии, он присоединился к нам. Мы все шли позади Шафинова, и наши тени длинно тянулись наискось деревенской улицы. Горбоконь и Войков шли рядом, то громко смеясь, то перешептываясь. Шафиров несколько раз оглядывался на них, но они продолжали. На квартиру Шафинова я вошел один. И тут Шафиров начал высказывать свое неудовольствие на Горбоконя. Любя Горбоконя и зная, что Шафиров хотя человек и добрый, но мстительный, я призвал на помощь все свое красноречие и, клянясь и божась, стал выгораживать Горбоконя. Я выставил Шафирову на вид молодость Горбоконя, его природную живость. Я говорил, что, может быть, Горбоконь, после долгой разлуки свидевшись с приятелем, забыл по молодости лет о присутствии старших и позволил себе увлечься слишком громким и веселым разговором, что это, конечно, с его стороны неуместная ошибка, бестактность, о чем я Горбоконю непременно скажу; но ничего в этом не было для Шафинова оскорбительного, клянусь честью!»

«Я говорил долго и очень горячо».

«Шафиров успокоился и простился со мной дружески, сказав на прощание:

— Скажите Горбоконю, чтобы в другой раз он был осторожнее».

«Возвратившись домой, я застал у себя Горбоконя и передал ему о нашем разговоре с Шафировым. Горбоконь был крайне удивлен и сказал, что, увидевшись с Шафировым, извинится за невольную сделанную опрометчивость, что смеялись они с Войковым за спиной у Шафинова, может быть, и громко, но невольно, и смех их не имел общего с предположением Шафинова, что они смеялись на его счет».

Из этой заметки можно составить себе представление о той атмосфере мелочного самолюбия и вздорных понятий об офицерском приличии, которая царил в тогдашней армии.

Впрочем —

«Все пошло своим чередом: движение, ночевки, дневки — все дальше и дальше от Кавказа. Уже давно скрылись из глаз их снежные вершины, их ущелья, полные опасностей. Прошли Аксай, подошли к Мариуполю».

«Город приморский на берегу Азовского моря, здания каменные. По всему видно, что среди жителей процветает коммерция. Жители в большинстве греки и евреи. Тепло. Погода пока хорошая. За Мариуполем в одном селе нас встретил командир 5-го корпуса генерал-адъютант Безак. На следующий день он назначил смотр обоза и лошадей».

«Я распорядился всю свою тройку, лошадей других офицеров, а также лошадей раненых вести запряженными в обозные повозки. Несмотря на то, что многие лошади, в том числе и командирские, по закону могли содержаться и содержались „на траве“ (то есть на своем, а не на казенном довольствии), все же следовало представить на смотр всех лошадей без исключения, ибо командир получал деньги на содержание их всех».

Видимо, по обычаю, командир присваивал себе деньги, получаемые на корм лошадей. Дедушка же ловко помог показать на смотре всех лошадей по «общему счету» — тонкость того времени, которая, по-видимому, не считалась злоупотреблением и на которую обычно начальство смотрело сквозь пальцы.

«Тройку своих лошадей я пустил в первых упряжках, как довольно видных и светлых».

Опять какая-то хитрость, мне непонятная.

«Смотр прошел хорошо. Все шито-крыто. Шафиров поблагодарил меня».

«Прошли Ростов-на-Дону. Город большой, но мы его почти не видели, так как стоянка была далеко, а мне еще необходимо было побывать на почте — на противоположной стороне. Пришел я на почту и получил по переводу деньги. Почтмейстер, молодой человек, как видно, не любил военных. Он был по приемам своим очень нелюбезен. Но мне от этого ничего. Я получил деньги — и всему конец!»

Дедушке было глубоко наплевать на неучтливового почтмейстера, не жаловавшего военных. Но неприятный осадок остался; вечная вражда между военными и штатскими. Видимо, «кавказские офицеры» снискали себе не слишком хорошую славу.

«В то время за городом была ярмарка. Устроена довольно хорошо, хотя по большей части в холщовых бараках-балаганах. Сходил я на ярмарку, купил что надо...»

А что надо — неизвестно. Ром? Кремни для пистолетов? Мыло? Бумагу? Чернила? Бритву? Ваксу для сапог? Кто его знает.

«Домой возвратился к обеду. А квартиру мне отвели в центре города, у богатого купца-грека, разговорчивого старика, который меня радушно угостил отличным обедом, состоящим из очень вкусных греческих блюд. Мы с ним разговаривали допоздна и...»

«Время шло незаметно».

Почему-то дедушке очень нравилось, когда время шло незаметно, и он всегда отмечал этот факт в своих записках.

«...переночевав, пошли дальше... Началась Таврическая губерния, в которой назначена была наша стоянка».

«Дальше поход уже надоел, желалось скорее стать на постоянное место, какое бы оно ни было».

«22 сентября в 4 часа дня пришли наконец в свою Большую Знаменку. Здесь был назначен штаб полка и дежурная рота. Прочие роты пошли расходиться по Мелитопольскому уезду. В Мелитополе стал штаб дивизии. Воинские части стояли на своем продовольствии — не больше одной роты в селе. Вскоре по прибытии в Б. Знаменку последовало приказание продать 125 подъемных лошадей, а людей, прослуживших до 6 лет, уволить: кого в отставку, кого в бессрочный отпуск».

«Теперь стало ясно, что война кончилась и начинается мирное время».

В этой фразе, несмотря на то, что в ней содержится как бы нечто радостное оттого, что начинается «мирное время» и все бедствия и ужасы миновавшей войны окончились навсегда, вместе с тем чувствуется скрытая горечь, как это ни странно, свойственная почти всем военным, переходящим после длительной тяжелой войны на безопасную, мирную жизнь.

Я сам испытал это двойственное чувство радости и горечи поздней осенью 1917 года, когда демобилизовался из армии и явился за получением денег и документов в штаб полка, разместившийся в пустой даче на краю Одессы. Румынский фронт докатился до Одессы! Меня больно поразил беспорядок, царивший в канцелярии, где вместо столов писаря устроили свои «ундервуды» на досках, положенных на ящики. Все произошло быстро и как-то унижительно небрежно. Я расписался в ведомости, получил деньги, следуемые мне вперед за два месяца и за ранение, послужной список, где я уже именовался не прапорщиком, а подпоручиком и где находилась выдержка из приказа о награждении меня орденом святой Анны 4-й степени «за храбрость». Теперь я был свободен и мне не угрожала ежеминутная смерть. Я вышел из канцелярии и отправился по мокрой дороге в город, со всех сторон окруженный туманом, сквозь который слабо чернели голые облетевшие деревья. Мои руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мною совсем недавно, при производстве в офицеры. Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее мне было грустно. Я нанял извозчика и поехал в город, где долго сидел в кафе за чашкой кофе, а потом на углу Дерибасовской и Екатерининской, возле дома Вагнера купил громадный букет гвоздик, сырых от тумана, и

отправил его с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный тратить свои последние военные деньги, и весь этот туманный, холодный октябрьский день остался в моей памяти как странная смесь радости и грусти, восторга свободы и унижения от демобилизации и горечи военного поражения.

Даже любовь меня не радовала.

«Командир нашего полка, — пишет дедушка, — занял квартиру бывшего командира Минского полка, выступившего в Феодосию, а я занял невдалеке квартирку в одну комнату. Стал устраиваться уже не по-походному, а прочно, с расчетом на долгое пребывание в этом уютном местечке, где судьбою суждено было мне найти свое счастье».

«Вскоре в Никополе была объявлена ярмарка, куда я отправился, чтобы продать свою тройку и тарантас. Никополь от нас в семнадцать верстах. Переправившись через реку на шаланде, куда поместилась моя тройка с тарантасом, я с Иваном приехали на ярмарку, остановились прямо на поле под открытым небом, распрягли лошадей и привязали их к тарантасу, в котором было сено. Часа через два явился какой-то помещик и сразу же, не торгуясь, купил мою тройку с тарантасом, упряжью и седлом за сто рублей. Получив деньги, я с Иваном примостились на воз к какому-то мужику из Знаменки и ночью поехали домой».

Ночь была теплая, осенняя, пахло сухим сеном, южнорусское небо чернело над степью, все осыпанное мелкими, еще почти летними звездами, над древними скифскими курганами, где, быть может, лежали кости наших отдаленных предков, над кустами чертополоха, или, как его здесь называли, будяка, вдоль пыльного шляха... Хрустальный хор поздних сверчков стоял вокруг от неба до земли, где далеко на горизонте, то приближаясь, то отдаляясь, горел красный, пастуший костер. Иногда по светло-серому мерцающему небу среди родных созвездий пролетал метеор, и, пока он катился, дедушка загадывал свое самое сокровенное желание. Но чего он желал? Я этого не знаю и никогда не узнаю, потому что дедушка ничего об этом в своей тетрадке не написал. Рядом с дедушкой на возу сидел, сгорбившись, его верный друг денщик Иван и курил свою трубку-носогрейку, которая часто гасла, и тогда Иван принимался рубить огонь, высекать искры и раздувать тлеющий трут, и его трубочка опять начинала рдеть в темноте этой степной таврической ночи, и в теплом воздухе распространялся сытный запах махорочки, такой привычный, такой военный, такой солдатский.

Вокруг все было мирно. Ехать было безопасно. Кавказ с его тревожными ночами и набегам горцев лежал где-то далеко-далеко и казался уже смутным воспоминанием. Да и там уже война, очевидно, кончилась.

Дедушка чувствовал себя на пороге какой-то новой, счастливой жизни, и когда проезжали мимо заброшенного, почерневшего от времени ветряка, возле которого лежал старый, стершийся жернов, обросший вокруг серебристой душистой полынью, то дедушка уже не испытывал привычного страха и не вынимал из бокового кармана сюртука свой дорожный пистолет...

«Начало мирной гарнизонной жизни ознаменовалось тем, что началась продажа полковых лошадей. Лошади шли за бесценнок: два, три и пять рублей. Командир полка из своих фуражных добавил три рубля».

(Для чего это делалось, не понимаю. Дедушка ничего не объясняет. Я думаю, что тут опять была какая-то финансовая тонкость...)

«Становой пристав, приглашенный мною на аукцион, устроил все формальности. Лошади были быстро распроданы. За хорошую продажу Шафиров получил благодарность от высшего начальства. Становой же за успешное содействие продаже получил в подарок тройку лучших лошадей, за которых Шафиров внес свои деньги».

Как я понимаю, никто не остался в накладе, и дедушка тоже. Это была как бы награда за все лишения и бедствия военной жизни.

«Кончилась распродажа лошадей, началось увольнение людей. Переписки стало масса. Но мы, офицерская молодежь, все перевозомгли. По случаю перевода полка на мирный состав была тьма самых различных запросов и требований, которые нужно было исполнить. Я исполнял их дома за стаканом крепкого чая, засиживаясь нередко далеко за полночь».

«Возьмешь, бывало, лист бумаги, перо и не знаешь, что писать. Но едва напишется первая какая-нибудь буква, как мысль мгновенно мелькнет — и пошла писать губерния, едва успевает рука. Через час-два бумага готова».

«Вначале я, бывало, посылаю написанное Шафирову. Он прочтает, просмотрит и возвращает с надписью карандашом „хорошо“. Получив бумагу с такой надписью, я откладывал ее в особую папку, с тем чтобы утром ее переписал начисто писарь. В 12 часов я нес эту бумагу (и все остальные бумаги) на подпись».

Значит, к этому времени дедушка уже был переведен в штаб полка, а может быть, и дивизии. Кем он только не был в армии: и младшим офицером, и командиром роты, и хлебопеком, и квартирмейстером, и водил команды на рубку леса, и жег «скоропалительными трубками» горские аулы, и объезжал диких лошадей — кавказский офицер, на все руки мастер! Настоящий, кадровый!

«К Рождеству получил я командировку в Одессу отвезти 30 тысяч рублей в банк. Со мною поехал юнкер Горбоконь 2-й и унтер-офицер 1-й роты. Сперва я поехал в Мелитополь, где начальник дивизии Вагнер надавал мне поручений к своей дочери. Собрав все посылки, в том числе — хорошо помню — 2 фунта табаку, я с Горбоконом 2-м поехали. За станцию до Херсона нас сильно вымочил дождь. Часа в два ночи приехали, но при сносе вещей у меня похитили табак Вагнера. Утром вставши, я начал осматривать вещи, но табаку, к сожалению, не оказалось. Сильно раздраженный, я дал Горбоконю 4 рубля и послал в город купить табак и заплатить за посылку. Сделав все это, я сдал табак по принадлежности. Вернувшись и хорошенько пообедав, отправились мы в дальнейший путь на Николаев, куда приехали на лошадях к вечеру, но, не останавливаясь, тут же отправились дальше в Одессу».

Представляю себе неустойчивую новороссийскую предрождественскую погоду в степи, недалеко от Черного моря: в Херсоне дождь, а между Херсоном и Николаевом уже, быть может, мокрый снег, морской ветер, временами туман, ночью мороз, так что телеграфные провода вдоль шоссе превратились в стеклянные палки и тяжело провисли между белыми фаянсовыми баночками изоляторов. А потом, быть может, снова потянуло влажным черноморским ветром и с обледеневших проводов посыпались капли воды.

В общем, погода скорее неприятная, чем приятная. Дедушка время от времени ощупывал спрятанную на груди сумку с тридцатью тысячами казенных денег. Он переживал прилив того особенного чувства возвращения в родные места, откуда несколько лет тому назад выехал на войну мальчишкой-вольнопределяющимся, а теперь возвращался кадровым офицером, героем Кавказа, навсегда уже выбравшим свой жизненный путь.

В противоположность дедушке я, демобилизовавшись из армии в конце 1917 года, испытывал совсем другое чувство — тревоги, беспокойства, неизвестности: что меня ждет впереди? В то время, когда в Петрограде и Москве совершилась Великая Октябрьская революция, но советская власть до нас еще не дошла, я чувствовал себя освобожденным от воинской присяги, не знал, не представлял, как я буду жить в дальнейшем, — недоучившийся гимназист, без профессии, без твердых представлений о гражданском долге. Единственно что наполняло мою душу, это была поэзия. В эти смутные революционные дни я был влюблен и ни о чем другом не думал, как только о любви к «ней». Теперь я понимаю, как это было странно и глупо. Как раз в ту ночь, когда в Петрограде восставший народ при звуке выстрела шестидюймового орудия с крейсера «Аврора», при свете скрещенных прожекторов ринулся на штурм Зимнего дворца — последней опоры старого мира, ничего этого не зная, я сидел в своей комнате в облаках табачного дыма и писал три сонета о любви: «Душа полна, как звучный водоем, как парус, вздутый ласковым порывом, как облако над солнечным заливом, как майский сад, цветущий под дождем...» — и т. д.

Нет, я совсем не был похож на дедушку.

Рядом с дедушкой сидел, нетерпеливо поводя плечами, молодой юнкер Горбоконь в подвернутом башлыке, наполовину прикрывавшем малиновые от крепкого степного ветра нежные юношеские уши. А на козлах рядом с почтовым ящиком боком сидел серьезный немолодой унтер-офицер в брезентовом кожане, держа руку на расстегнутой кобуре, где находился большой револьвер с оранжевым шнуром, надетым на шею унтер-офицера: все-таки везли немалые казенные деньги; шутка ли сказать — тридцать тысяч!

Приближаясь к Одессе, где дедушка учился в гимназии, где жили его братья, где все напоминало ему годы юности, мыслью дедушка устремился еще дальше — в Бессарабию, на берег реки Прут, в Скуляны, где возле древней церкви на кладбище была могила его отца, отставного капитана Нейшлотского полка, сражавшегося с турками в дельте Дуная, в Добрудже, на подступах к Цареграду... Дедушке представлялись виноградники, сады, ветряные мельницы в степи, просторный богатый помещичий дом, где он родился. Он знал, что после смерти отца их родовое гнездо было продано. Все распалось, разрушилось... Осталась лишь таинственная связь между ним, моим дедушкой, и его предками, и его будущими потомками, историческая судьба которых заключалась в боевом служении России, в укреплении ее черноморских границ, той громадной полосы родной земли, которая начиналась с буджакских степей, тянулась на восток через

Новороссийский край, через Крым, через донские и кубанские земли, через Закавказье, через Дагестан, Грузию, Мингрелию, Абхазию, Армению вплоть до турецкой границы, мимо снежных шапок Арарата...

Телеграфные и верстовые столбы пробегали назад, все назад, мимо почтовой кибитки. Вокруг была мутная пустынная степь. И лишь недалеко от Одессы, возле Дофиновки, дорога подошла к обрывам, и перед глазами открылся простор зимнего моря, катившего свою тяжелую мертвую зыбь на песчаный берег, где белели сугробы тающего снега, похожие на белых медведей, улегшихся возле мутно-зеленой воды взбаламученного Черного моря с густым пароходным дымом на горизонте.

«Перед вечером, миновав Жевахову гору, лиманы и Пересыпь, мы въехали в город, уже освещенный огнями фонарей. Под копытами лошадей защелкала, рассыпая искры, новая гранитная мостовая. Юнкер Горбоконь 2-й почти на ходу высадился на Софиевской улице и, взяв извозчика, отправился домой, я же поехал к брату Александру на угол Почтовой и Ришельевской, двух великолепных, прямых, как струна, центральных улиц, — в дом Видмана... В квартире брата я застал одну лишь прислугу Елизавету, бывшую нашу крепостную из Скулян, а теперь вольную».

Сердце дедушки больно сжалось.

Сначала они не узнали друг друга. Она не узнала маленького Ваню в этом офицере с золотистыми бачками, с кавказской шашкой, в мокрой бурке, который молодым простуженным голосом спросил:

— Александр Елисеевич дома?

Но когда он скинул бурку и снял шинель и папаху, вытер платком желтоватое удлиненное лицо с голубыми глазами, она поняла, что перед ней младший сын ее бывших господ, тот самый мальчик Ваня, который, бывало, приходил к ней в людскую кухню, где она исполняла должность кухарки, и она жарила ему в духовке кукурузные зерна, вдруг с треском лопавшиеся, превращаясь в рыхлые белые цветочки вроде маленьких тубероз, — любимое лакомство всех скулянских детей, да и взрослых тоже. Она любила этого барчонка в красной рубашечке и сушила для него на подоконнике маленькие полосатые тыквочки, называвшиеся таракуцками, испорченным молдавским словом «тэртэкуцэ», служившие игрушками, чем-то вроде музыкальных инструментов, издававших при встряхивании удивительный шорох своих высушенных семечек.

Теперь Елизавете было странно видеть Ваню взрослым офицером. Она стояла перед ним — пожилая женщина с цыганскими глазами, в тесной ситцевой кофте, в переднике, в козловых башмаках с ушками, с серебряным печатным киевским колечком на опухшем пальце — такая чужая и вместе с тем такая домашняя, живая свидетельница их бывшего богатства и нынешнего разорения. Дедушке нужно было сделать умственное напряжение, чтобы наконец постичь, кто она такая. Может быть, он бы так ее и не узнал, если бы не тот особый кухонный запах вытертых мочалкой жирных кастрюль, который запомнился ему с детства и был связан с ее именем, так же как и с музыкальным шорохом высушенных таракуцек.

— Панычек! Це ж вы! — сказала она, склонив черно-седую голову набок, и вдруг из ее карих глаз покатались слезы.

— Лизавета! — воскликнул дедушка. — Вот так встреча!

Он вдруг сразу припомнил свое навсегда миновавшее детство и услышал звук лопавшихся в духовке кукурузных зерен.

Бывшая их крепостная, а ныне вольная кухарка Елизавета стояла перед ним в солидно обставленной передней его старшего брата, теперешнего главы их семьи.

Она стояла перед ним как конец прошлой дворянско-помещичьей жизни и начало новой, еще не вполне понятной жизни, в которую вступал дедушка.

«Расположился, — пишет он, — у брата в гостиной на диване. Брат пришел со службы поздно. Напились чаю, поговорили и легли спать».

Неизменно скупое, даже как-то не по-родственному упоминает дедушка о своем старшем брате Александре. О чем они говорят перед сном? Неизвестно. Вероятно, о каких-нибудь пустяках. «О том о сем», по шутливому выражению дедушки. А ведь они давно не виделись, и за это время произошло много событий: умер в Скулянах от холеры отец, сестра Елизавета, уехавшая в Петербург и, как дочь участника Отечественной

войны двенадцатого года, принятая в привилегированное учебное заведение, окончила его и вышла замуж; умер брат Яков; после Крымской войны скулянское имение оказалось проданным, и мать дедушки Марья Ивановна принуждена была бросить насиженное гнездо и уехать. Где-то в Бессарабии осталась старшая сестра Анастасия, жена того самого Ковалева, который, как мы уже знаем, отвозил дедушку из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Почему-то мне кажется, что братья Александр и Иван не слишком любили друг друга, быть может, при разделе наследства старший брат обидел младшего, да и разница в годах была довольно велика для того, чтобы они могли стать близкими друзьями: Александр был уже настоящий, солидный мужчина средних лет, с бакенбардами, в вицмундире, занимавший в банке довольно видное положение. Дедушка же в его глазах представлялся необстоятельным мальчишкой, который, вместо того чтобы делать себе карьеру на поприще гражданской службы, ни с того ни с сего прямо с гимназической скамьи отправился добровольцем на войну на Кавказ и хотя уже дослужился до поручика, но какие же у него могли быть перспективы? На всю жизнь остаться армейским пехотным офицером, и тянуть ляжку, переезжая из одного гарнизона в другой, и получать ничтожное жалованье, только и всего. Александр с высоты своего солидного служебного положения, имея уже известный вес в местных биржевых кругах, неодобрительно смотрел на своего меньшого брата, который, скинув обмундирование и оружие и поставив грязные сапоги возле дивана, спал крепко, но тяжело, иногда вскрикивая во сне...

«На другой день, 24 декабря, в сочельник, пошел в город и купил что нужно».

Но что ему было нужно? По своему обыкновению, не пишет.

«Вернулся, пообедал и вечером пошел в гости к зятю Горбоконя майору Верстовскому на кутью; так как уже был вечер, то, едва поздоровавшись, сейчас же сели за стол».

Немного подморозило, небо очистилось, стало прозрачно-зеленоватым, и над черными силуэтами голых акаций, над черепичными крышами, над чердаками показалась первая звездочка как знак того, что уже можно садиться за стол с голодной кутьей. Кутья только так называлась — голодная, а на самом деле на чистой льняной скатерти, разостланной поверх пахучей соломы, что должно было напоминать о яслях, в которых родился малютка-спаситель, были расставлены тарелки, блюда и поливенные миски со множеством всякого рода постных кушаний, специально приготовленных для сочельника: жаренные на подсолнечном масле пирожки с сильно наперченной гороховой начинкой или кислой капустой с поджаренным луком, заливной судак, от одного взгляда на которого охватывала морозная дрожь, вареники с картошкой, пончики с вареньем, варенуха в графинах, та самая варенуха, о которой волшебник Гоголь сказал, что это «варенуха с вытребеньками»...

Но самое главное — на этом столе были две глубокие миски, одна с пшеничной кутьей, другая с взваром, — яства, названия которых в наших краях всегда произносились вместе, неотделимо друг от друга, как пара волов в одном ярме: «кутья и взвар».

Взвар был не что иное, как компот, сваренный из сушеных яблок, сморщенных, как старухи, черных сушеных груш, вишен, изюма, а кутья не имела ничего общего с той кладбищенской кутьей — рисовой кашей, посыпанной сахарной пудрой, — без которой не обходятся ни одни православные похороны. Рождественская кутья, распространенная у нас на юге, представляла из себя варенные на меду пшеничные зерна, перемешанные с мелко нарубленными грецкими орехами (называвшимися, кстати, во времена моего дедушки волошскими) и залитые сладким соком растертого до молочной белизны мака. От кутьи невозможно было оторваться, и добрая хозяйка обычно щедро добавляла суповой ложкой эту божественную еду в глубокие блюдечки своих гостей.

Луч первой звезды — «вифлеемской» — дрожал в окне, наполняя сердце каким-то особым, рождественским холодом, составляя как бы одно неизъяснимо великолепное целое с кутьей, взваром, заливным судаком и прочими блюдами, расположенными на льняной скатерти поверх свежей душистой соломы.

Сидя за этим праздничным ужином, дедушка чувствовал себя умиротворенно, радостно, и давно забытый холодок детства пробежал по его телу.

«Хозяева оба очень милые, разговорчивые, расспрашивали о Кавказе, о тамошней жизни, климате, природе».

И, надо думать, дедушка — в парадном сюртуке и ярко начищенных парадных сапожках, — слегка

облокотившись на спинку стула и позванивая под длинной скатертью шпорой, охотно делился своими наблюдениями о Кавказе, о жизни на позициях, о стычках с горцами, о рубке леса, о набегах и о многом другом, о чем примерно в то же время и даже иногда теми же словами писал Лев Толстой, а прежде него — Лермонтов и Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», что как-то странно и сладко сближало моего скромного, ничем не замечательного дедушку с этими великими писателями.

«Вечер прошел незаметно, — с удовлетворением отмечает дедушка по своей привычной любви к времени, когда „оно проходит незаметно“. — В 10 часов я, простившись, пошел домой».

Когда он шел по празднично опустевшей Одессе, по гулким тротуарам, вымощенным плитками итальянской вулканической лавы, в рождественском небе уже мерцали мириады звезд, и среди них, быть может, скользил, как на коньках с горки, гоголевский черт, без которого не могло обойтись ни одно рождество.

И ночь была торжественна.

«Брат еще не возвращался из биржевой залы, открытой несмотря на сочельник, а когда пришел, то я уже спал. На другой день — первый день Рождества — я пошел в церковь».

В этот день 25 декабря праздновалась годовщина изгнания Наполеона с его «двунадесятые языками» и после литургии служился торжественный молебен. Морозное солнце било в узкие окошки под куполом, и в церкви Афонского монастыря, полной молящихся, лилово курились полосы солнечного света, и дедушка, любитель хорошего церковного пения, наслаждался звуками стройного и строгого монашеского хора, чувствуя себя причастным к русской воинской славе, к победе над врагами — отчасти потому, что сам был боевым офицером, а отчасти потому, что его отец (а стало быть, мой прадед) капитан Елисей Бачей был участником войны достопамятного Двенадцатого года.

«Отстояв литургию и молебен с водосвятием, с каплями святой воды на бровях, отобедав дома с братом, я пошел бродить по городу...»

Здесь все было связано с его гимназическими годами, с его юностью. Он с волнением узнавал все достопримечательности Одессы: белую колоннаду Воронцовского дворца, как бы повисшую над голубой пропастью порта, памятник дюку де Ришелье с изящной головкой, похожей на вилочек цветной капусты, и рукой, протянутой к Стамбулу, городскую Думу со статуей слепой Фемиды, белый маяк при входе в порт, уже отстроенный после бомбардировки во время севастопольской кампании.

Прибавилось кое-что новое.

В цоколь памятника дюку было вделано ядро — память о бомбардировке города англичанами, — а против Думы стояла, повернутая к морю, чугунная пушка, снятая с потопленного против Малого Фонтана английского фрегата «Тигр» — событие, происшедшее во время, когда дедушки в Одессе не было.

Появился на соборной площади памятник Воронцову — узкое властное лицо и застегнутый на все пуговицы сюртук.

«Полумилорд, полукупец» и т. д.

Город явно менял свое лицо.

Несмотря на свою сравнительную молодость — деду в ту пору едва исполнилось двадцать пять лет, — он ощущал легкую горечь от сознания хотя и медленно, но все же уходящей жизни.

«Так прошло три дня, в которые я бывал у Верстовских, пил чай и проводил вечера. На четвертый день отправился в банк, внес полковые деньги — 30 тысяч рублей, — получил свидетельство об этом, почувствовал облегчение и на пятый день выехал на почтовых из Одессы. Дорога была уже другая, не на Мелитополь, а прямо на Никополь, что оказалось заметно ближе. Переправившись по уже хрупкому льду через Днепр, часа через два был уже дома. Явился к командиру, отдал ему свидетельство, напился чаю и пошел к себе на квартиру».

«Дело пошло по-старому: днем в канцелярии, а вечером дома».

Легко разделался дедушка с грустными воспоминаниями юности, легко переступил порог зрелости, легко

забыл войну.

Можно ему только позавидовать. Мне все это далось гораздо тяжелее. Впрочем, и время было не то. Вокруг меня бушевала революционная буря, по городу разъезжали броневики, заставляя содрогаться памятники и колоннады, по ночам в разных частях города слышалась редкая винтовочная стрельба, по улицам проходили матросские патрули с восставших кораблей «Синоп» и «Алмаз»... В их руках отливали синевой вороненой стали маузеры. Холодная предрассветная луна освещала мертвые дома. А я один в своей маленькой комнате — не то отставной офицер, не то дезертир, — ероша волосы, писал, обливаясь слезами:

«Вверху молчали лунные сады, внизу прибой считал песок, как четки. Всю эту ночь у дремлющей воды я просидел на киле старой лодки. И ныло от тоски все существо мое, тоска была тяжелее черной глыбы. И если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы...»

...В этом было отличие меня от дедушки...

«Командир полка Шафиров хотя и холостой, но любил устраивать у себя танцевальные вечера, что, впрочем, более приличествовало командиру полка не холостому, но женатому».

Танцевали под фортепиано, при стеариновых свечах. Надо признаться, дедушка не без удовольствия предавался этому невинному развлечению, вполне заменявшему для него занятие поэзией, тем более что на танцевальных вечерах у Шафирова бывали не только полковые дамы, но также местные знаменские девицы, среди которых попадались довольно хорошенькие, особенно прелестные при вечернем освещении, делающем их южно-провинциальные личики просто-таки фарфоровыми.

Воображаю, как дедушка в длинных военных брюках на штрипках, с красным кантом, в легких штиблетах, обхватив одной рукой в белой перчатке стройный девичий стан, а другую руку заложив за свою узкую сухопарую спину, обтянутую новым сюртуком с фалдами на шелковой подкладке, взбив над высоким лбом белокурый напомаженный кок, щеголевато выделявал па какой-нибудь чешской польки и лихо топал подошвами и каблуками во время кадрили.

Не следует забывать, что, будучи штабным офицером, он уже носил адъютантские аксельбанты, придававшие его фигуре некоторую служебную значительность.

Однако, несмотря на эти танцевальные вечера, стрела Амура ни разу не поразила дедушкино сердце настолько, чтобы ему могли угрожать «узы Гименя».

Все это было еще впереди.

«В январе пришлось съездить в Мелитополь по не совсем приятному поводу: дело в том, что из штаба дивизии совершенно неожиданно прислали начет на ротных командиров за довольствие рот в 1859 году. Никому и в голову не могло прийти, что может выплыть это дело, относящееся еще ко времени военных действий. Думали: что с возу упало, то пропало. Однако не тут-то было. Командиру полка и ротным было неприятно. Стали просить меня уладить это дело».

Можно заключить, что к тому времени за дедушкой уже каким-то образом закрепилась репутация канцелярского дипломата, опытного в различных запутанных, кляузных делах, неизбежных во всех воинских частях, имеющих свое хозяйство.

«Я взял с собою старшего писаря Лося, весьма сведущего в таких неясных делах, старшего унтер-офицера — и мы в большом полковом тарантасе отправились в Мелитополь. Правду сказать, я сам плохо представлял себе, как буду действовать».

«Проехав целую ночь, я к вечеру был на месте».

«Дело оказалось серьезное, тем более что дивизией командовал генерал Соболевский, человек разбитной и очень сердитый».

«Мой Лось, побывав в дивизионном штабе, разнюхал у своих знакомых писарей, в чем дело, и узнал, что все можно устроить, если прождать с неделю, пока не вернется Вагнер, поехавший в Херсон к дочери. Я сунул по совету Лося дивизионному писарю 25 рублей, и писарь познакомил меня с черновой бумагой, в которой было сказано: по встретившейся надобности возвратить книги дивизионному штабу. Прочитав эту секретную бумагу и найдя ее содержание весьма хорошим для того, чтобы замять дело, я поехал домой, куда прибыл

благополучно».

В чем состояла миссия дедушки и о каких бумагах идет речь, не понимаю. Наверное, это была какая-то особенная канцелярская тонкость. Чувствую лишь, что дедушка ликовал.

«На другой день явился я к командиру полка и объяснил ему, в чем дело. Он был очень доволен моей командировкой и...»

На этом месте обрывается тетрадь без номера, а следующая тетрадь утрачена, так что приходится продолжать разбирать записки деда в тетради № 4 и тетради № 5, имеющих на обложке надпись:

«Мои воспоминания. И. Бачей».

«На Крещение 6 января 1860 года после парада поручик Гуров уговорил меня пойти с визитом к полковому адъютанту Иванову, семейному человеку, у которого — как я, кажется, уже упоминал раньше, — кроме жены, жила еще мать жены и младшая сестра, впоследствии... моя жена».

Вот тебе и раз! Неожиданно. Скорей по-кавалерийски, чем по-пехотному, и уж во всяком случае не по-штабному. И не вполне в духе дедушкиного уравновешенного характера. Но...

С этого места стиль дедушкиной прозы делается многозначительно скупым. Пишущий как бы желает внушить читателю мысль, какие важные последствия могут повлечь за собой столь незначительные события, как, например, праздничный визит молодого офицера в семейный дом полкового адъютанта с такой ординарной фамилией, как Иванов.

«Придя к Ивановым, мы провели за обыкновенным, ничем не замечательным разговором час времени, а затем, простившись, ушли по домам».

Эту запись можно понять в том смысле, что дедушка как бы даже и вовсе не заметил присутствия в гостиной молодой девушки, сестры хозяйки дома мадам Ивановой.

Однако в самом умолчании о младшей сестре крылось многое.

«На масленой, — продолжает дедушка свои воспоминания все в том же лапидарном стиле, — мадам Иванова с сестрой и поручиком Евлашовым заехали за мной кататься на санях».

...большие полковые парные сани, покрытые кавказским ковром, с медвежьей полостью и слегка выпившим солдатом на облучке. Лошади остановились как вкопанные против дедушкиного крыльца, но крупные бубенчики на хомутах все никак не могли угомониться, издавая волнующий музыкальный шорох.

Накинув бекешу, дедушка поспешно, дабы не задерживать дам, выходит на крыльцо.

Ветер валит с крыши облака снега, и сквозь пургу, жмурясь, дедушка видит башлык поручика Евлашова, перекрещенный на груди, и два женских розовых от мороза лица, наполовину закрытых муфтами: одно лицо мадам Ивановой, другое — похожее на нее, но совсем молоденькое, почти детское личико ее младшей сестры.

Дедушка расшаркивается перед дамами, прося прощения за то, что замешкался, причем его маленькие штабные шпоры, прибитые к каблукам шевровых штиблетов, позванивают, а поручик Евлашов отстегивает медвежью полость и так неловко втаскивает дедушку за рукав в сани, что дедушка под общий смех валится прямо на дам, от которых пахнет теплыми меховыми муфтами, меховыми шапочками, повязанными поверх оренбургскими платками, источающими запах свежих брокаровских духов.

Дамы жмутся друг к дружке, и вскоре дедушка устраивается рядом с поручиком Евлашовым на переднем сиденье, лицом к лицу с одной из дам, которая оказывается младшей сестрой мадам Ивановой.

— Пошел! — кричит поручик Евлашов, изображая бесшабашного масленичного кутилу.

— Слушаюсь, ваше благородие! — молодецки подмигивая, отвечает солдат и, привстав на облучке, лупит концом синих гарусных вожжей «по всем по двум».

Лошади берут с места в карьер, валдайский колокольчик заливается, бубенцы шуршат, вокруг степь, укрытая толстой пеленой пухлого южного снега, в лицо бьют вихри морозной пыли, забирающей за воротники, ресницы у дам побелели, а щеки горят жарко...

Вон в стороне от дороги изо всей мочи скачет, оставляя за собой серые следы и прижав к спине уши, заяц-беляк в зимней шубке.

Из сугроба торчит куст засохшего прошлогоднего чертополоха, дрожа от налетов степного таврического ветра.

— Заяц — это к счастью! — кричит сквозь ветер мадам Иванова, прикрывая лицо муфтой.

Дедушка изо всех сил поджимает и отводит в сторону ноги, боясь коснуться коленями колен младшей сестры мадам Ивановой, у которой из-за муфты виднеется только один веселый глаз.

...они с гиком обгоняют попутные сани...

Потом чьи-то сани обгоняют их, как бы осыпав на лету звоном бубенцов и колокольчиков.

Горизонт мутен. Снежное небо и снежная степь слились воедино, но где-то высоко чувствуется спрятанное солнце. Ну и так далее.

Странно, но, может быть, именно здесь — в облаках метели, среди этой таврической, новороссийской степи, под елочный шорох бубенцов и дилиньканье валдайского колокольчика — решался в конечном итоге вопрос о моем бытии.

«Проездив час за селом по дороге в Малую Знаменку, возвратились назад, причем мадам Иванова выговаривала мне, что я их забыл. Я отговаривался неимением времени. Этому не поверили и пригласили ехать к ним пить чай. Волей-неволей пришлось согласиться. За чаем я больше молчал, прислушиваясь, как поручик Евлашов трунил с младшею сестрою».

«Сам же Иванов все время занимался бумагами, по-семейному разложив их рядом со стаканом чая в подстаканнике».

«После сытного ужина я простился и ушел».

Кажется, на этом все бы должно было кончиться и я мог бы не появиться в этом мире...

Ан нет!

«Через неделю был ротный праздник 3-й стрелковой роты, которую командовал капитан Попов. На этот праздник поехал я на казенных лошадях вместе с Ивановым. Все пили и ели очень много. Но Иванов и я очень мало. Вечером, когда поехали обратно, наш возница — фурштадт — оказался мертвецки пьян. Пришлось перетащить его в ящик повозки, сесть на козлы и править лошадьми самому».

«С этого вечера я стал чаще бывать у Ивановых».

Можно подумать, что в этом каким-то образом повинен мертвецки напившийся на ротном празднике фурштадт. Но нет.

«Меня, — пишет дедушка, — привлекала младшая сестра мадам Ивановой. Приходя к ним вечером, я вместе с молодой девушкой усаживались особняком, в уголку, играть в пикет».

«Однажды вечером, числа 10 марта, поручик Евлашов стал говорить о какой-то свадьбе. Младшая сестра мадам Ивановой, мадемуазель Мари, с которой я в это время по обыкновению играл в пикет, вдруг посмотрела на меня и спросила:

— Ну а вас, Иван Елисеевич, когда можно будет поздравить с законным браком?

— Нас вместе поздравят, — неожиданно для самого себя ответил я тихо, почти шепотом».

«Покраснев как маков цвет, девушка ничего не сказала. Но дальнейшая игра наша в пикет была уже комедией: мы не смотрели в карты, а бросали их наобум».

«Прошел вечер. Гости разошлись, и я вместе с ними. Придя домой, я лег в постель, но сон бежал моих глаз. Разные думы сменялись одна другой. Я никак не мог унять душевного возбуждения. Рассвет застал меня у окна, над которым снаружи висела бахрома сосулек, откуда то и дело срывались капли. В воздухе плыл

великопостный звон к ранней заутрени. Наконец я уснул. В 8 часов я проснулся, умылся в сенях ледяной водой, оделся, напился чаю».

Дедушка никогда, даже в самые важные минуты своей жизни, не забывал сообщить, что он напился чаю.

«...я в 10 часов пошел в канцелярию и писал, писал, писал бумаги, сам не зная и не понимая, что пишу».

«В 11 часов я пошел в отделение адъютанта Иванова и сказал ему:

— Прошу вас на несколько слов».

«Придя в особую комнату, чтобы быть наедине, я передал ему, что невестка его Мария Егоровна произвела на меня сильное впечатление: одним словом, я ее полюбил и прошу его содействия в своей семье, чтобы я мог назвать мадемуазель Мари своею женою».

«Иванов расстался со мною, сказав, чтобы я надеялся».

«Все это так меня взволновало, что я отправился к командиру полка с докладом бумаг в белом жилете, что было совсем не по уставу. Командир полка, зная меня как исполнительного, аккуратного офицера, при виде моего белого жилета посмотрел на меня удивленными глазами и, указав пальцем на мой жилет, спросил, строго нахмурившись:

— Что это значит, поручик?»

«Опомнившись и извиняясь, я поспешно застегнулся, дабы скрыть жилет».

«Вечером я был у Ивановых, и, встретив меня в гостиной, старуха мать сказала мне, что Иванов передал ей мое предложение и со своей стороны она согласна, но надо спросить самое Мари. Позвав Мари, которая тут же вошла в гостиную и остановилась в дверях, старуха мать спросила ее, согласна ли она».

«Та изъявила согласие».

«Остальные члены семьи и гости тут же поздравили нас».

«Мы стали жених и невеста».

«В пикет мы больше уже не играли, а ходили рука об руку по комнате, разговаривая о будущем».

«На следующий день я послал в Полтаву своей матери и сестре письмо, прося их благословения, и скоро получил в ответ их полное согласие. Тогда с Подгурским, уезжавшим в командировку в Одессу, я написал письмо с тем же брату Александру. Через две недели Подгурский приехал и привез письмо от брата, который сильно меня отчитывал потому, что невеста бесприданница — ничего не имеет, — а на бедной жениться нельзя».

Тут влюбленный дедушка-идеалист, по-видимому, не на шутку вспылал; впрочем, отношения со старшим братом у него всегда были холодные: слишком разные они были люди.

«На это письмо послал я резкий ответ и вместе с тем попросил Шафирова быть у меня благословенным отцом».

«Свадьба была назначена в первое воскресенье после Пасхи, на так называемую Красную горку, когда обычно у нас на Руси играет большинство свадеб».

«На страстной я, взяв отпуск, поехал на почтовых со своим Иваном в Полтаву».

Становится кое-что более ясным в семейной хронике Бачей: сестра дедушки Лиза, та самая, с которой в детстве, в Скулянах, дедушка играл в таракуцки и лазил на горище, где хранились на зиму фрукты, — эта самая Лиза по окончании с шифром Смольного уехала в Полтаву, где поступила классной дамой в институт для благородных девиц; в нее влюбился губернский предводитель дворянства, богатый полтавский помещик, вдовец, Петр Ганько, женился на ней, и она сделалась хозяйкой одного из самых видных полтавских домов. Впрочем, она при этом не бросила службы и еще долго продолжала оставаться классной дамой в институте для благородных девиц.

Хотя Лиза была бесприданница — имение в Скулянах перешло в другие руки, — но ее брак с Ганько был вполне равный, так как отец Лизиного отца, а мой прапрадед Алексей Бачей происходил из дворян Полтавской губернии и даже, по преданию, был выходцем из старшины Запорожской Сечи, то есть мог считаться как бы из рода гетманов, о чем я уже, впрочем, здесь упоминал.

Елизавета Елисеевна, урожденная Бачей, а в замужестве Ганько, поселила у себя нежно любимую мать, которая после смерти мужа и разорения совсем растерялась, однако обратно на родину в Гамбург уехать не захотела, навсегда оставшись русской дворянкой, хотя правильно изъясняться по-русски так никогда до самой своей смерти и не научилась, большею частью говорила по-немецки и всюду возила с собой мейсенскую чашку, из которой пила кофе, по немецкому обычаю наливая в него из фарфорового кувшинчика величиной с наперсток несколько капель сливок.

О своем переезде на почтовых из Знаменки в Полтаву дедушка не распространяется, но я думаю, что это было полное очарования путешествие ранней весной, когда снег уже почти совсем сошел и на вербах засеребрились почки, похожие на заячьи хвостики, и на лозинах повисли сережки, сплошь покрытые желтой пылью странного своего цветения.

Казалось, сама природа готовится не только к празднику воскресения Христова, но также и к дедушкиной свадьбе, заставляя зеленеть пригорки и блестеть воды разлившихся рек и ручьев.

Наслаждаясь красотой ранней южной весны и предаваясь сладким мечтам о будущем семейном счастье, дедушка все время видел перед собой свою невесту, или, как он еще продолжал называть ее на людях, мадемуазель Мари, а сам с собой уже Машей и даже Машенькой. Ее образ всюду сопровождал его: милая молоденькая девушка из интеллигентной семьи профессора Шевелева, еще почти совсем девочка, крепенькая, с круглым румяным добрым лицом и маленькими пухлыми ручками, в шелковом расфуфыренном платье, довольно складно, хотя и грубо скроенном и пошитом знаменской модисткой, с косынкой на шейке, — точно такой, какой дедушка на всю жизнь запомнил ее в незабвенный день помолвки.

Таких хорошеньких, крепеньких, круглолицых красавиц так и хочется назвать таракуцками.

Ничего этого дедушка, конечно, в своих воспоминаниях не пишет. Приходится мне на правах его внука и наследника заниматься подобными описаниями.

«По приезде в Полтаву — при унылом звоне великопостных колоколов — я остановился в гостинице, переночевал, привел себя в порядок и отправился к Ганько, дом которого был хорошо знаком каждому извозчику. Застал дома мать, сестру и двух дочерей предводителя Ганько от первого брака».

«Поцелуи, объятия, восклицания, — все пошло одно за другим. Расспросы обо всем. Узнав, что я остановился в гостинице, сестра ужасно рассердилась и заставила меня немедленно отправиться в гостиницу, забрать свои вещи и переехать к ним в дом, где в особом флигеле мне была приготовлена комната. В этой свежей, с только что вымытым полом и голубыми стенами комнате я переоделся, почистился и через двор, уже поросший молодой травкой, отправился в дом».

«Зять, муж моей сестры Елизаветы, Петр Ганько, уже пришел. Мы познакомились. Он мне понравился: хороший седоватый господин, очень вежливый и бодрый. Тут же я познакомился со своей племянницей, дочкой моей старшей сестры Анастасии, жены того самого Ковалева, который отвозил меня из Скулян в Одессу поступать в гимназию. Звали мою племянницу Верой Ковалевой».

«Сестра моя Елизавета вместе с нашей старушкой матерью, узнав о незавидном положении Ковалевых в Бессарабии, привезли Веру в Полтаву, с тем чтобы поместить в институт, где ей могла оказать протекцию Елизавета».

«Вера, полная краснощекая девушка, что называется, кровь с молоком, родилась в Скулянах в 1844 году, стало быть, ей исполнилось теперь 16 лет».

По-видимому, эта самая Вера принадлежала к тому же типу девушек, что и невеста дедушки мадемуазель Мари, младшая сестра мадам Ивановой, то есть была, что тогда называлось, «розанчик».

«...она любит самовластие, и здесь если ей приходится исполнять какой-нибудь приказ бабушки или тети, то исполняет его молча, прикусив пухлые губки...»

«Старшая дочь Ганько от первого брака всё молчит, читает, но младшая, Анюта, 15 лет, — веселая и

разговорчивая — очень мне понравилась».

«Вот и вся семья».

Дедушка сразу попал в общество молодых девушек, что не могло еще больше не поднять его настроение, и без того отличное, веселое, радостное, как и полагалось влюбленному жениху в ожидании свадьбы. Да и появление в доме молодого кавказского офицера, героя, да к тому же еще и жениха, не могло не возбудить повышенного интереса к нему молоденьких родственниц.

Я думаю, с появлением дедушки в доме Ганько сама собой установилась легкая атмосфера всеобщей влюбленности.

«Я приехал в страстную среду; на другой день, в четверг, был с сестрою в церкви кадетского корпуса и отстоял там длинную всенощную с приглушенным стройным мальчишеским хором, траурными ризами священнослужителей и тем особым вечерним великопостным светом, который так грустно и так молодо синел в узких церковных окнах».

Стоя рядом с сестрой, преклонив по-военному одно колено, а на другом, выставленном, придерживая фуражку, дедушка молился о своем покойном отце, о старушке матери, об оставленной в Знаменке невесте и усердно крестился, прижимая ко лбу, груди и плечам крепко сложенное троеперстие. Сестра же его Лиза, стоя на коленях и убрав в сторону шлейф длинного платья, прижимала к груди руки в перчатках, вспоминала Скуляны, детство, дружбу с братом, думала о своем муже, таком прекрасном человеке, о его дочерях, таких прекрасных девушках, и на глазах у нее сияли слезы любви и умиления.

Эта совместная молитва еще больше сблизила брата и сестру, и без того крепко любивших друг друга.

«Прошла святая, разговены после пасхальной заутрени, стол, уставленный высокими, как башни, куличами, называвшимися здесь по-южному пасхами, и множеством ранних весенних цветов, выращенных в собственной оранжерее».

«В четверг на святой, получив благословение матери и не переставая думать о невесте, которую пообещал привезти в Полтаву в следующем году на Пасху, я выехал со своим верным Иваном восвояси, в полк».

«Поездка прошла благополучно», — счел необходимым отметить дедушка, хотя трудно представить себе, почему бы поездке этой и не быть благополучной. Ведь время уже было мирное и черкесов вокруг не наблюдалось.

Ах, это время, которое почему-то всегда летит «незаметно»!

Каждое попутное местечко или большое село встречали дедушку пасхальным трезвоном; сияло солнышко; зеленела новая травка, в которой кое-где виднелись скорлупки крашенок; на дорогах курилась первая, уже почти летняя пыль. Над камышовыми крышами белых хуторов летели аисты. Милая сердцу картина.

Дедушка чувствовал себя прекрасно: только что он провел несколько радостных дней среди родных и близких, в красивом городе с белыми домиками под зелеными и красными железными крышами, окруженными пирамидальными тополями, садочками, где уже в полную силу цвели вишни и яблони; на праздничном базаре среди каруселей и перекидок стеклянно блестя на солнце полированная посуда здешних гончаров — глиняные горшки и глечики, завернутые в солому; аппетитно пахли свежее испеченные знаменитые полтавские бублики и сайки; нарядные чернобровые красавицы в клетчатых плахах, скрипучих полусапожках с подкованными каблучками, в платочках, накрученных на голове наподобие чалмы, так и обжигали молодого кавказского офицера взглядами своих карих, ярких, смоляных, чересчур смелых глаз, улыбками румяных ротиков...

...а знаменитые полтавские бабы-перекупки в плисовых безрукавках носили мимо него на плечах кипы богато вышитых рушников и свертки домотканого сурового холста...

Дедушка перебирал в памяти свои полтавские впечатления, веселые обеды и ужины в богатом доме Ганько среди молоденьких девушек, расспрашивавших его о Кавказе, о войне, о его невесте.

Присутствие девушек в кружевных платьях с розовыми кушаками и белых лайковых башмачках особенно украсило его пребывание в Полтаве — отчасти потому, что, любясь их свежестью и молодостью, он не мог каждый миг не возвращаться памятью к своей невесте, почти такой же молоденькой, но только во сто раз

более желанной и любимой.

«Ах, Машенька, Машенька!» — не раз вздыхал про себя дедушка среди самых веселых застольных разговоров.

Дедушка проехал через поле знаменитой Полтавской битвы, где Петр разбил шведов и навсегда утвердил славу России.

«В Знаменке я застал всех здоровыми, в полку — все в порядке. Вещи мои уже оказались перенесенными к Ивановым, а потому я временно поселился в квартире на углу возле того же дома, где жили Ивановы».

Под звон пасхальных колоколов жених еще более приблизился к невесте.

«...был в канцелярии у командира полка, время шло незаметно. На временной моей квартире шла своего рода работа по приготовлению фейерверка, которым занялись Поповский и Козинец, большие специалисты по „скоропалительным трубкам“ и „ракетным станкам“...» —

...напоминавшим дедушке войну и горящие сакли горских аулов.

«Как прошло время с утра 24 апреля в воскресенье до 5 часов вечера, когда надо было ехать в церковь венчаться, не помню; все смешалось у меня в голове».

Время то стояло на месте неподвижно, как бы и вовсе отсутствуя, то лихорадочно мчалось куда-то: то ли вперед, то ли назад.

«В 5 часов, надев парадную форму с эполетами, я пошел к Ивановым, где меня уже ждал Шафиров — мой посаженный отец».

Дедушка стал перед Шафировым по-офицерски на одно колено, и Шафиров, тоже в полной парадной форме, в орденах, в белых перчатках, напомаженный, благословил дедушку иконой, после чего они поцеловались: дедушка почувствовал от усов Шафирова запах духов и бриллиантина, и у дедушки в сердце похолодело, как в колодце.

«Получив благословение, поехал я с Шафировым в полковом экипаже в церковь, где уже были мои товарищи офицеры и полковой священник в новенькой золотой ризе отец Тимофей Ковальский с наперсным крестом на алой анненской ленте. Через четверть часа, показавшихся мне бесконечными и тревожными, приехала и невеста, которую встретил я у порога церковного и, предложив ей руку, провел к алтарю. На ней было подвенечное платье со шлейфом, скрывавшим маленькие пухлые ножки в шелковых туфельках, и фата с веточкой воскового флердоранжа, припиленной к затейливой прическе. Ее рука в длинной, по локоть перчатке с морщинками на сгибе дрожала на обшлага рукава моего новенького мундира».

«Началось венчание, которое шло очень долго. Шаферами были у меня Горбоконь и Поповский, а у невесты Войков и Козинец».

«Наконец всему делу венец!».

«...и мы, то есть я, невеста и Шафиров, поехали в полковом экипаже домой, где были приняты матерью Шафирова, от которой получили новое благословение, и сели рядом с Машей на диван в гостиной. Нас все поздравили. Выпили шампанского, чай, затем начались танцы под звуки полкового оркестра и продолжались до 12 часов ночи, когда подали ужин, а за окнами затрещал и застрелял фейерверк — бураки, бенгальские огни, римские свечи, — добавочно освещая плывущими разноцветными огнями и без того ярко освещенную залу, куда с улицы заглядывали любопытные Знаменские жители. И мне временами казалось, что где-то совсем рядом горят сакли, зажженные „скоропалительными трубками“. Тотчас после ужина опять пошли танцы, а в три часа ночи гости разъехались и мы с Машей, снявшей уже фату и раскрасневшейся от танцев, пошли спать».

«25-го опять поздравления наших шаферов, потом обед по случаю того, что Шафиров выехал в Мелитополь, где на 27-е назначена была свадьба Супруненко и Шафиров был у него, как и у меня, посаженным отцом».

«1 мая, прискакав из Мелитополя со свадьбы Супруненко, Шафиров, неутомимый танцор, устроитель офицерских свадеб, но сам при этом закоренелый холостяк, тут же устроил у себя танцевальный вечер с

дамами. Чай в саду при звуках полкового оркестра, и огнях, и треске фейерверка, оставшегося от моей свадьбы, был весьма оживлен. Потом старики засели за карты, а молодежь пошла танцевать».

«Я тоже танцевал кадрили с молодой женой, а в промежутке между танцами ходил с ней под руку по саду, по аллеям среди высоких кустов цветущей сирени при свете теплой майской луны».

«В 12 часов сели за ужин, длившийся час. Смеялись, шутили, и... — не забывает отметить дедушка, — вечер прошел незаметно».

Так женился мой дедушка.

Может показаться, что его просто-напросто женили. Возможно. Пусть так. Но не все ли равно, если они полюбили друг друга, в результате чего у меня и моего младшего брата Жени появилась бабушка, хотя матери еще и в помине не было, в чем я вижу одно из доказательств того, что время имеет свойство двигаться также и в обратную сторону.

«Потом наступили хлопоты по устройству лагеря с его солдатскими и офицерскими палатками, клумбами ночной красавицы, обложенными выбеленными кирпичами, линейкой и караулом возле знамени в клеенчатом чехле и зеленого полкового сундука».

«По окончании устройства лагеря, к июлю, начались вольные работы. В некоторых деревнях, где работали наши солдаты, время от времени возникали неудовольствия землевладельцев-помещиков, и Шафилов посылал меня улаживать неприятности и получать деньги».

«К 1 августа полевые работы кончились и роты вернулись в лагерь. Начались учения. Тут 15 августа во 2-м батальоне майора Войткевича, того самого, который на Кавказе послужил причиной смерти унтер-офицера Гольберга, о чем я уже писал, произошла во время учения стычка его с поручиком Горбоконе».

«Учение производилось после Кавказа по новому уставу, офицеры и солдаты часто ошибались. После одной дурно исполненной команды Войткевич остановил учение и грубо сказал:

— Господа офицеры, если будет еще так продолжаться, то я позову на ваше место кашеваров, а вас пошлю на кухню чистить картошку».

«Услышав такие слова, Горбоконе вспыхнул, вложил саблю в ножны и, подойдя к Войткевичу, сказал, изо всех сил сдерживая ярость:

— Господин майор, я болен... Я не могу больше продолжать учение... при подобных оскорблениях».

«Войткевич с презрением повернулся к нему спиной и, ничего не ответив, ушел в свою палатку».

«На другой день у нас была ротная поверка, при коей Горбоконе доложил командиру полка жалобу на Войткевича за грубое обращение».

«Командир полка позвал Войткевича к себе в кабинет. Что они там говорили, неизвестно, но выйдя оттуда, Шафилов сказал Горбоконе:

— Я не имею, поручик, от вас донесения о вчерашнем случае и потому не могу ничего сделать».

«В тот же день Горбоконе подал рапорт, в котором описал все случаи грубого обращения Войткевича с офицерами и нижними чинами, причем упомянул об убийстве Войткевичем на Кавказе унтер-офицера Гольберга».

«Рапорт его был представлен начальнику дивизии. Через дней десять начальник дивизии прислал ответ: подать Горбоконе в отставку, то есть решил, что поступки Войткевича — грубость и убийство — хороши».

Впервые я нашел в записках дедушки подлинное, глубокое чувство возмущения нравами, царящими в армии.

«Вслед за этой бумагой приехал сам начальник дивизии Эйсмонт. Начался смотр. На смотре начальник дивизии старался всячески давить Горбоконе: во фронте кричал, чуть не топтал его конем. После смотра офицеры, собравшись, отправились к Шафилову и просили разрешения пойти к начальнику дивизии просить за Горбоконе. Шафилов, испросив предварительно позволения Эйсмонта и получив согласие, разрешил».

«Офицеры пошли к Эйсмонту. и стали его просить оставить Горбоконя в полку как хорошего офицера и товарища».

«Начальник дивизии, услышав такой единодушный отзыв офицеров о Горбоконе, подумал и сказал:

— Это совсем другого рода дело. Хорошо, господа, я согласен, но пусть Горбокось попросит извинения у Войткевича, а Войткевич у Горбоконя — и делу конец».

«Поблагодарив начальника дивизии, офицеры отправились прежде всего к Горбоконию, передали ему все бывшее у Эйсмонта и просили согласиться. Подумав, Горбокось сказал:

— Благодарю вас, господа. Вашу просьбу я исполню нынче же вечером».

«Тогда офицеры пошли в палатку к Войткевичу, передав ему слова начальника дивизии и Горбоконя.

— Хорошо, — сказал Войткевич, — я согласен».

«После обеда был смотр, строевые учения. Все прошло отлично. Подали экипаж. В экипаж сел Эйсмонт и посадил с собой Шафирова, а затем пригласил в экипаж полкового адъютанта Иванова и меня. Мы сели и поехали домой».

«Между тем в лагере произошло следующее».

«Горбокось, пригласив в свидетели офицеров стрелковой роты, пошел к Войткевичу, который ходил взад-вперед возле своей палатки, заложив руки за спину».

«Обратившись к Войткевичу, Горбокось взял под козырек и сказал:

— Господин майор, в своем рапорте я позволил себе выразиться резко и потому прошу у вас извинения».

«Войткевич, осмотревшись, сказал:

— Отлично. Но, к сожалению, здесь нет моих офицеров, которые могли бы быть свидетелями моего извинения».

«С этими словами он послал своего адъютанта за офицерами. Адъютант их позвал. Они пришли и стали против офицеров — свидетелей Горбоконя».

Все было весьма формально, чин чином.

«— Господа, — четко и резко сказал Войткевич, обратившись к офицерам. — На учении в июле я, погорячившись, позволил себе довольно резко выразиться, а потому извините меня».

«Он сделал некоторую паузу, вынул из тесного кармана рейтуз серебряный портсигар со множеством золотых монограмм и оранжевым запальным шнуром, закурил папироску, немного попустил из ноздрей дыма, а затем, небрежно поворотившись в сторону Горбоконя, так же четко и резко заметил:

— А перед вами, поручик, заметьте это себе, я *не извиняюсь!*»

«Он сильно нажал на слово не — и повернулся спиной к Горбоконию».

«Горбокось был ошеломлен».

«— Почему же? — сказал он, побледнев. — Я обиделся вашими словами в июле на ученье и затеял дело. Теперь же по приказанию начальника дивизии мы с вами должны извиниться друг перед другом и кончить это дело. Я извинился перед вами, а вы?»

— Я вам отвечать не намерен. Про то знает полковой командир, — сказал Войткевич.

— Но почему же? — сорванным голосом воскликнул Горбокось, еще более побледнев.

— Повторяю, — отчеканил Войткевич, — я вам отвечать не намерен».

«Судорога отчаяния пробежала по лицу Горбоконя. Из мертвенно-белого оно вдруг стало багровым. Он

уже не владел собой».

«— А! — закричал он, задрожав всем телом. — Так ты не батальонный командир, а подлец!»

«И с этими словами, размахнувшись, Горбоконь ударил Войткевича правой рукой по левой щеке, а затем повторил удар, но уже левой рукой по правой щеке».

«Не удержавшись на ногах, Войткевич упал на палатку, закричав:

— Лошадей мне! — желая немедленно ехать к начальнику дивизии».

«Все стояли, пораженные ужасом».

«Один из офицеров сказал:

— Зачем, Горбоконь, ты это сделал? Если бы мы это знали, мы бы не пошли с тобой».

«Горбоконь, снова побледневший как смерть, посмотрел на своих товарищей странным взглядом и произнес с еще более странной, блуждающей улыбкой:

— Не бойтесь, господа. Ничего вам не будет».

«С этими словами он пошел к себе в палатку, где, бросив на кровать скинутый поспешно сюртук и саблю, бывшую на нем, взял заряженный револьвер, вставил дуло между двумя пальцами руки, которую положил на белый жилет против сердца, и произвел выстрел, окончив таким образом свою печальную жизнь».

А что еще оставалось делать ему, молодому, самолюбивому, горячему, обещанному офицеру?

«Итак, вместо жалобы Войткевич привез начальнику дивизиона известие, что Горбоконь застрелился. Начальник дивизии Эйсмонт, сильно испугавшись, закричал, чтобы ему сейчас же дали лошадей ехать домой, а Шафирову приказал разобрать дело и донести».

«Шафиров послал ординарца за полковым адъютантом, у которого я в это время был в гостях. Ординарец явился к Ивановым, сказав, что Горбоконь застрелился. Услыхав это, Иванов пошел к командиру полка, а я без шапки побежал в лагерь».

«За селом меня догнал экипаж, в котором мчался Шафиров со своим адъютантом Ивановым. Меня окликнули. Я отозвался и был приглашен командиром полка присоединиться к ним. Стоя на подножке накренившегося экипажа, я въехал в лагерь. Вижу такую сцену: офицеры стоят кучками и рассказывают что-то друг другу...»

«Шафиров распорядился некоторых офицеров арестовать до утра под надзором дежурного по полку».

«К палатке, где лежал Горбоконь, приставили часового. Доктору было приказано утром освидетельствовать застрелившегося. Остальным офицерам приказано было идти в свои палатки и не выходить. Сделав эти распоряжения, Шафиров забрал меня и Иванова с собой, и мы поехали обратно в деревню».

Застрелившийся Горбоконь был ближайшим другом дедушки, его боевым товарищем и шафером у него на свадьбе. Однако в своих записках дедушка ни словом не обмолвился о том, как отнеслась бабушка к ужасному происшествию.

Вообще после свадьбы дедушка редко упоминает о бабушке. Вероятно, он так привык жить исключительно интересами службы, что молодая прелестная жена как бы вовсе выпадала из поля его зрения, а вернее, существовала для него в каком-то другом измерении, что совсем не противоречило тому, что он очень ее любил всю свою жизнь.

«Утром на другой день, часов в семь, я отправился пешком в лагерь. Доктор и дежурный по полку вошли в палатку, где всю ночь лежал мертвый Горбоконь, я и несколько других офицеров пошли с ними».

«Доктор, осмотрев, сказал, что нечего тормошить мертвого, так как и без того все ясно. Надо просто написать, что застрелился в припадке острого сумасшествия».

«Услышав это, я запротестовал и стал требовать подробного вскрытия, заявляя, что Горбоконь никогда не был сумасшедшим и застрелился в полном уме, так как не мог снести нанесенного ему оскорбления. Другие офицеры меня поддержали. Доктор, видя, что делать нечего, вскрыл голову Горбоконя; оказалось в полном порядке; вскрыл сердце, живот — все нормально; только, видно, человек был возбужден».

«Затем труп был отдан мне для погребения, так как самоубийца лишен был погребения со священником. Я заказал у полкового столяра гроб, который был через два часа готов».

«Доктор зашил голову Горбоконя, грудь и живот. На него мы с доктором не без труда надели мундир, застегнули и положили в гроб. Трудней всего было сложить ему руки на груди: они уже окоченели. Но все же мы их сложили».

Дедушка не пишет, каков был Горбоконь в гробу, но я вижу его ясно: горбоносое казачье молодое лицо (может быть, горбоносое по ассоциации с фамилией). Русый волнистый чуб, прилипший к высокому красивому лбу. Чуть заметные усики, слегка вьющиеся. Запавшие, закрытые глаза и черта предсмертного мучения, искривившая обескровленные сиреневые губы... И восковой подбородок, подпертый твердым воротником армейского мундира с поднятыми эполетами.

«В первом часу дня при пасмурном небе мы, человек двадцать офицеров 1-й стрелковой роты, подняли гроб на свои плечи и понесли по передней линейке лагеря».

«Дежурные барабанщики били дробь».

«Солдаты, выходя из палаток на переднюю линейку, крестились и кланялись гробу».

«Пронеся таким образом гроб с телом Горбоконя вдоль всего лагеря, мы отправились на дорогу, которая вела из села, где возвышалась башня над могилой какого-то ранее, несколько лет тому назад, застрелившегося доктора».

Как видно, в то время люди часто стрелялись.

«Прибыв к заранее приготовленной могиле, мы прочли молитву, по очереди поцеловали застрелившегося товарища в ледяной лоб, покрыли гроб крышкой, забили крышку гвоздями и спустили в могилу».

«Так умер человек молодой, полный сил и ума, ценимый всеми его знавшими. Мир праху твоему, благородный человек!»

«После похорон началось следствие. Опрошенные офицеры единогласно показали, что Горбоконь согласно приказанию начальника дивизии попросил извинения у Войткевича и у своих офицеров, а Войткевич отказался извиниться в свою очередь перед Горбоконе, к чему его обязывало приказание начальника дивизии, чем поставил Горбоконя в унижительное положение; Горбоконь вспылил, сказав Войткевичу: „Ты не батальонный командир, а подлец!“ — и ударил его в левую щеку, а затем в правую, отчего Войткевич упал на палатку, закричав: „Лошадей мне!“»

И так далее, о чем здесь уже было писано.

«Из произведенного следствия начальство увидело всю вину Войткевича и, не удовлетворившись этим, прислало из Одессы своего следователя, который еще больше выяснил поступок Войткевича».

«Надо сказать, что на другой день после смерти Горбоконя Войткевич как ни в чем не бывало вывел свой батальон на учение и начал командовать. Но Шафиров, узнав об этом, послал сказать ему, чтобы он сдал батальон и тотчас явился к нему. Сдав батальон, Войткевич пошел на квартиру командира полка и, поговорив с ним, подал рапорт о болезни».

«По представлении материалов следствия корпусному командиру генерал-адъютанту Врангелю, старому кавказцу, Войткевич был уволен в отставку с пенсией майора 320 рублей в год и поступил управляющим в имение к ротмистру Попову».

«Во время этого дела я получил письмо от сестры Горбоконя, которая просила меня продать оставшиеся после его смерти вещи и поставить памятник на могиле. Вещи я продал с аукциона офицерам. Шубу енотовую и пистолет, из которого Горбоконь застрелился, купил Кульчицкий, взяв деньги в долг, с тем чтобы расплатиться по частям».

«На вырученные деньги я принялся строить над могилой Горбоконя памятник из камня, обитого железом, покрытого темно-синей масляной краской, с крестом и надписью на фронте. В памятник была вделана лампада».

«В 1861–1862 годах наш полк стоял в том же лагере. Отправляясь на ученье, мы всегда проходили из села мимо памятника, служившего напоминанием об умершем, о недавно закончившейся кавказской кампании и о стихотворении поручика Лермонтова, напечатанном в альманахе „Утренняя заря“ и ходившем по рукам в армии, в особенности среди бывших кавказских офицеров».

«...„Ура!“ — и смолкло. „Вон кинжалы, в приклады!“ — и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудью, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть... (и зной и битва утомили меня), но мутная волна была тепла, была красна... Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму пороховом...»

«А там, вдали, грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной, тянулись горы — и Казбек сверкал главой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: „Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?“»

Лампадка на могиле Горбоконя теплилась так мирно, так кротко... Но ангел смерти, видно, летал над этой степной местностью, ища новых жертв:

«По моему назначению офицер Кульчицкий был командирован в Херсон получить для полка порох, разные учебные припасы и денег 800 рублей. Зная слабость Кульчицкого, я написал было в Херсон, чтобы деньги выслали по почте, но командир полка Шафиров, найдя это недоверием к офицеру, приказал переписать бумагу и выдать деньги Кульчицкому под расписку. Кульчицкий поехал, получил все припасы, порох и деньги, но последние проиграл и написал мне слезное письмо, прося его выручить».

«Припасы и порох прибыли своевременно. Вслед за ними приехал Кульчицкий, но, не имея денег, по начальству не явился. Я захоптал, стал собирать у себя офицеров, чтобы как-нибудь выручить Кульчицкого: составил подписной лист, лично подписался на 25 рублей».

«Между тем Шафиров, узнав о прибытии пороха и припасов и о приезде Кульчицкого и видя мое смущение и суетливое поведение, призвал меня к себе.

— Отчего Кульчицкий не является? — спросил он, поставивши меня своим вопросом в крайне затруднительное положение».

«Я некоторое время находился в нерешительности, но наконец сказал:

— Петр Васильевич, вам как человеку я могу ответить на ваш вопрос, а как начальнику я промолчу.

— Говорите мне как человеку, — ответил он».

«Услышав эти слова, я рассказал ему все, что знал».

«— Пусть Кульчицкий явится ко мне сейчас, — сказал Шафиров, — скажите ему, что я денег не потребую».

«Я тотчас побежал к Кульчицкому и послал его к Шафирову. Кульчицкий пошел. Командир полка его „выпудрил“, чем дело и кончилось».

«Через месяц после сего Шафиров назначил Кульчицкого командиром 3-й стрелковой роты, думая этим дать ему „поправиться“. Получив роту, Кульчицкий закутил, сильно пошла в ход картежная игра. На все мои предостережения Кульчицкий не обращал внимания».

«В феврале 1861 года по случаю прибытия в полк старшего по чину, чем Кульчицкий, офицера отдан был приказ Кульчицкому сдать роту. Это сильно его обескуражило. Накануне сдачи денежного ящика с ротными суммами он был у меня. Шафиров тоже был. Видя Кульчицкого в таком ужасном состоянии, Шафиров сказал:

— Что это молодой офицер так печалится? Не печальтесь! Пройдет месяц — и я опять вам дам роту, чтобы вы могли поправиться».

«Но эти обнадеживающие слова мало подействовали на Кульчицкого. Видно, его денежные дела были непоправимо запущены. Он чуть не со слезами выпросил у меня часть недостающих денег, уверяя, что сейчас

же их пошлет по почте в Алешки, место стоянки его бывшей роты. Я дал. Он уехал. Но не в роту, а в Каменку, где стал опять играть в карты и проигрался в пух».

«На рассвете, когда я с женою еще спал, он вдруг явился к нам — страшный, взъерошенный, с красными глазами, — попросил у моего человека рюмку водки, выпил, махнул рукой и поехал в роту. Там Кульчицкий — видимо, уже совсем не владея собой, — написал донос на Шафирова, что тот будто бы притесняет его по службе, отправил этот донос со своим братом на почту, а сам заперся в комнате, взял и застрелился из того же самого пистолета, из которого застрелился Горбокоть».

«Все были оскорблены таким поступком Кульчицкого, зная, что вопреки его доносу Шафиров был к нему всегда внимательно-добр».

«Произвели поверку сумм — оказалась, как и следовало ожидать, большая недостача, не говоря уж, что и у меня взял».

«Насколько смерть Горбокотья была сожальтельна, настолько смерть Кульчицкого была осудительна».

«Приехал следователь от корпусного командира; все офицеры показали за Шафирова, против Кульчицкого. Получив дело, корпусной прислал Шафирову извинительное письмо. Дело кончилось без всяких последствий».

Представляю себе самоубийство Кульчицкого: раннее утро, низкое солнце, еще розовое, в как бы ночной комнате на полу косяки утреннего света, беспорядок, трагически разбросанные вещи, чернильница, ручка с пером, обрывки бумаги — черновики доноса. И Кульчицкий без сюртука, в подтяжках, в несвежей сорочке, с опухшим лицом, злыми, воспаленными, как бы светящимися глазами. А сюртук — валяется на железной кровати не чищенный уже по крайней мере неделю, с пухом на сукне. Посередине комнаты на полу штилеты с засохшей грязью. Может быть, Кульчицкий даже не присел к столу. У него под ногами валялись разорванные игральные карты. Кульчицкому все еще представлялся зеленый ломберный стол с сукном, дымящимся от стертого мела, щеточки, шандалы, окурки, белые колонки цифр. Сумбур последних дней. Кружила голову последняя рюмка водки, выпитая в передней у дедушки, который, обняв пухлые плечи молодой жены, спал сладким утренним сном, слегка похрапывая.

Очень длинные, почти бесконечные тени на розовой пустынной улице большого таврического села. Ранние воробы.

Я думаю, Кульчицкий, рыжеватый, взъерошенный, с белым лицом подлеца, со скрюченной рукой, просто присел боком на шаткий стул перед столом, с выражением отвращения на лице зажмурился и выстрелил себе в открытый рот, на один миг ощутив на языке гальванический вкус пистолетного дула и успев подумать, что это пистолет покойного Горбокотья, после чего перестал существовать. А енотовая шуба, которую дедушка в своих воспоминаниях писал «янотовая», висела на гвозде, вбитом в дверь, такая же запущенная, как и ее последний хозяин.

Шуба двух самоубийц.

С разможенным изнутри затылком, откуда наружу хлынула кровь, залив всю комнату, Кульчицкий упал лицом на стол и так и остался до тех пор, пока не явился полковой доктор и не совершил всех формальностей.

Дедушка ничего не пишет о похоронах. Вероятно, Кульчицкого похоронили, как самоубийцу, без духовенства, где-нибудь за околицей или перед оградой сельского кладбища при звуках ротных барабанов, сыпавших зловещую траурную дробь. И солдаты выходили из казармы, крестились и кланялись, тревожно косясь на мертвый профиль Кульчицкого и на его сложенные на груди руки.

Может быть, кто-нибудь поставил на могиле Кульчицкого крест или камень.

И все о нем забыли.

А ведь у него, наверное, была мать-старушка, и сестра, и брат, для которых он был самым дорогим человеком.

Таким образом, в таврической степи появилась третья могила самоубийцы.

Могилы самоубийц в пустынной степи — какое щемящее душу зрелище!

Сколько раз еще потом мимо этих могил проходили в XIX и XX веках самые различные войска: русские,

немецкие, красные, белогвардейские, советские, фашистские, — и, проходя мимо, никто из них уже не знал, что это за надгробия, как они сюда попали, в эти сухие, горькие полынные просторы на подступах к Крымскому полуострову, твердыне России на Черном море.

«Роту Кульчицкого принял поручик Пригара 1-й, славный офицер, из саперов. Пошло время лагеря, опять на том самом месте, где он был в прошлом году. После лагеря — работы на полях землевладельцев. Поездки к помещикам за деньгами. Все как в прошлом году».

«Время мелькало, — автоматически отмечает дедушка, — пришел август, собрались обратно с полевых работ в лагерь. Прошли слухи, что идем в Керчь. Даже один раз вдруг в то время, когда я принимал провиант в магазине, потребовали меня к Шафирову, говоря, что — поход. Я бегом направился к нему. Оказалось, что недавно сформированный окружной штаб потребовал какие-то сведения о тяжестях полка».

«В этом же году, — вскользь прибавляет дедушка, — у меня родилась дочь Надя, хорошая девочка».

«Лето прошло незаметно, а затем и зима... Настал 1862 год. Встретили его по обыкновению у Шафирова весело, шумно, не зная, что принесет будущее».

«Пришла весна, яснее стали говорить о походе в Керчь. Собрались пока в лагерь, ожидая приказа, которое пришло к июлю. Стали готовиться к выступлению. Закипела работа, которая скоро была закончена. Предстояло тяжести отправить сухим путем на Арабатскую стрелку, а батальоны идут на Бердянск, где сядут на пароходы Русского общества пароходства и торговли — РОПИТ. Десятидневный сухарный провиант повезут на казенных лошадях. Но как быть с вещами на подъемных лошадях, которых всех не имелось? Это крепко заботило Шафирова и командира 1-го батальона Шверина».

«Оба думали, что я как молодоженатый поеду вместе с женой на Арабатскую стрелку, а не вместе с батальонами».

«Узнав это, я решительно объявил командиру полка, что пока я на службе, я вижу сперва интересы полка, а потом уже свои личные, семейные: если он прикажет мне идти с первым эшелонам, то я и пойду, а жену с ребенком отправлю в экипаже через стрелку».

Вот какой оказался дедушка службист-молодец!

«Услышав мое решение, Шафиров и Шверин очень обрадовались и благодарили меня. Шафиров сказал, что он все сделает для моей семьи».

«Собравшись в половине июля, я выступил с 1-м батальоном, а жену с ребенком приготовил на другой день к поездке в коляске на паре своих лошадей в сопровождении фургона с другой парой лошадей — для следования в Керчь через Геническ».

«Поход мой был хорош, без задержки. Я брал подводы по числу, сказанному в открытом листе, причем если не было лошадей, запрягал в повозки паруволowie как пару лошадей».

Из этой не вполне ясной фразы можно заключить, что в тех местах вместо лошадей главным образом запрягались волы.

«Паруволowie» — пара волов, спаренных деревянным ярмом.

«Все шло хорошо. Шверин не имел никаких хлопот. Все лежало на мне. Так дошли на волах до Бердянска. Я остановился в гостинице и сделал распоряжение о посадке на пароход Русского общества».

«Проведя в Бердянске два дня, был в театре: представляли актеры довольно плохо, но по распоряжению Шафирова в оркестре играла даром наша полковая музыка, что скрашивало скверное впечатление о спектакле. На другой день был в городском саду. Играла тоже наша полковая музыка».

«Народу и интеллигентной публики масса!»

«На следующий день после обеда была посадка на пароход, а ночью пошли в Керчь, куда и прибыли в 11 часов следующего дня. Сперва высадили людей, а с ними вышли и сами».

«Вместе с женой, встретившей меня на пристани, сели на дрожки и отправились на квартиру, нанятую ею накануне (жена приехала в город ранее моего прибытия). Квартира довольно хорошая, из четырех комнат.

Хозяин и хозяйка с Дону. Часть мебели жена приобрела у ранее квартировавшего тут подполковника Виленского полка».

Бабушка моя, несмотря на свою молодость — ей в ту пору было лет девятнадцать, от силы двадцать — почти девочка! — оказалась энергичной, расторопной, вполне самостоятельной, как, впрочем, и полагалось быть заправской полковой даме.

Вижу, как тащилась молодая офицерша с севера на юг по Арабатской стрелке в полковом экипаже, запряженном парюю собственных лошадей, с кучером-солдатом на козлах и денщиком рядом с ним, с казенной фурманкой позади, нагруженной домашним скарбом, которым уже успели обзавестись бабушка и дедушка.

Бабушка в холщовом пылевике и в полотняном дорожном капоре, из которого выглядывало, как из будки, ее румяное, словно яблочко, лицо; она держала на коленях годовалую круглолицую девочку, одетую точно так же, как и ее мама, в холщовый пылевичок и серый дорожный чепчик с рюшами. У девочки от жары потрескались губки, и бабушка время от времени доставала из баула рожок со сладкой водой и поила ребенка, вытирая ей ротик и щечки батистовым «приданным» платком.

Повертывая круглую головку, девочка смотрела уже почти осмысленными глазками вокруг себя на утомительно медленно движущийся мир солончаков Арабатской стрелки, опрокинутых над горизонтом зеркальных миражей, выжженной таврической степи, кувыркающихся поперек дороги шаров высохшего перекасти-поля, подгоняемого знойным ветром...

...Бывшие и будущие поля сражений...

Именно где-то здесь в отдаленном будущем была найдена в вонючем рассоле Сиваша та позеленевшая, забитая солью медная гильза от трехлинейного винтовочного патрона — память о гражданской войне, о взятии Красной Армией Перекопа, которую некогда подарил мне на память товарищ Корк, начальник штаба Фрунзе. Помню, как блеснули стекла его пенсне без оправы. Подтянутый, стройный доброжелательный...

...не чувствуя, что дни его уже сочтены...

Эта гильза долго лежала у меня в столе и пропала во время второй мировой войны... Но тогда ничего этого еще не было, и моя будущая бабушка тряслась в полковом экипаже в Керчь. В экипаже с потрескавшимися кожаными крыльями, в которых мутно, но ослепительно отражалось крымское солнце.

«Город Керчь, как приморский, населенный разными иностранцами, преимущественно греками, довольно по тому времени хороший, имеет мужскую гимназию, женский институт, клуб, где зимою четыре раза в месяц бывают семейные танцевальные вечера».

«Перезнакомившись в городе, мы зажили веселее, чем в Знаменке».

«Перед Рождеством я по делам службы собрался второй раз в Одессу. Зима была очень суровая, и мне пришлось испытать всю ее суровость».

«Брата Александра нашел я на прежней квартире на углу Почтовой и Ришельевской. Исполнив все служебные поручения, я купил жене часы в магазине Баржанского, большой платок, набрал на платье и выехал опять на стрелку, чтобы ехать в Керчь».

«Дорога была ужасная: лишь на шестой день к вечеру я добрался домой. Жена сильно беспокоилась, потому что несколькими днями ранее под Керчью погиб пароход Русского общества, шедший из Одессы».

Бабушка боялась, что дедушка находился на этом пароходе.

Дикий норд-ост нес над морем тучи снега. Зеленые волны с зубчатыми белогривыми гребнями, такие зловещие под черными низкими тучами, точно их написал своей быстрой кистью сам феодосийский житель знаменитый Айвазовский, обрушивались на потерявший управление пароход, из высокой трубы которого валил черный дым и на сломанной мачте трепался флаг бедствия.

Бабушка, кутаясь в бурнус, в зимнем капоре с развевающимися лентами, прибежала, задыхаясь, на пристань и, ломая пухлые ручки, следила вместе с онемевшей толпой за ужасным зрелищем взбаламученного моря, среди которого на глазах у всех погибал пароход...

О, как громко и радостно она закричала, когда вдруг уже поздним вечером услышала в передней нетерпеливое дилиньканье колокольчика и голос дедушки, сбрасывающего на руки денщика свою обледеневшую походную бекешу!

Перебивая друг друга вопросами и ответами с поцелуями, слезами и объятиями, с молодым веселым смехом бабушка и дедушка стали разворачивать гостинцы.

Только и слышались бабушкины восклицания:

— Ах, какая прелесть! — Голос ее был почти совсем девичий, с южными придыханиями. — Какая роскошь! Какая прелесть!

Она так часто повторяла слова «какая прелесть», что они впоследствии перешли ко всем ее многочисленным дочерям и сделались как бы семейным выражением восторга.

Когда значительно позже появился на свет и я, то помню, как меня, маленького мальчика, тормошили бабушка и все незамужние екатеринославские тетки, подбрасывали меня к потолку, тискали, целовали, миловали, причем то и дело слышались выражения фамильного восторга: «Ах, какая прелесть!»

Я был «ах, какая прелесть», и все вокруг меня в том мире, который только еще начинал познавать, все было «ах, какая прелесть».

И моя мама тоже довольно часто произносила эту всеобъемлющую фразу.

— Посмотри, Пьер, — восклицала она, обращаясь к моему папе, — на это облако над морем, не правда ли, какая прелесть!

Я так привык к этому восклицанию, что когда в первый раз выпил из большой серебряной ложки рыбий жир, то воскликнул:

— Ах, какая прелесть!.. — Но сейчас же опомнился, скривил рот и поправился: — Вот гадость!

Но тогда, в те незапамятные и для меня легендарные дни в Керчи, поздним вечером на дворе бесился норд-ост, а в четырехкомнатной квартирке, только что оклеенной бумажными шпалерами, было так тихо, так тепло, так уютно.

Столовая с висячей олеиновой лампой под белым абажуром; дедушкин кабинет: письменный стол с парафиновыми свечами под зеленым козырьком, кавказский ковер на стене с кавказской шашкой, кинжалами и двумя пистолетами; спальня с горкой подушек на двуспальной кровати, покрытой стеганым одеялом, а на верху пирамиды из подушек — совсем маленькая подушечка в кружевной наволочке — думка, — которую обычно бабушка подкладывала себе под щеку; детская комната, где в колыбельке, разметавшись, спала годовалая девочка Надя, а рядом на сундуке, расставив толстые ноги в шерстяных чулках, сидела заспанная няня.

Натопленные печи и кухня, откуда потягивало запахом солдатских сапог и сквознячком из-под двери, ведущей во двор.

Всюду в педантичном порядке была расставлена старая и новая, по случаю приобретенная мебель.

По-вечернему все было темновато, но уютно освещено и очень нравилось дедушке, который впервые чувствовал себя настоящим, зрелым, женатым мужчиной, обладателем молоденькой жены Маши, отцом семейства, владеющим такой прекрасной четырехкомнатной квартирой, что когда бы еще ко всему этому фортепиано, то в пору хоть штаб-офицеру.

Денщик успел стащить с дедушки мокрые сапоги, и дедушка ходил из комнаты в комнату по своей прекрасной квартире в удобных штиблетах на резинках, с ушками.

Штиблеты легко поскрипывали, вполне по штаб-офицерски.

Вручение подарков происходило в столовой со специально припущенным по этому поводу фитилем. Мягкий свет заливал обеденный стол. Стараясь не торопиться, дедушка выкладывал один за другим свертки и пакеты перед счастливой, раскрасневшейся бабушкой. Бумажные свертки были плоские, элегантные, сделанные опытными руками одесских приказчиков мануфактурных и галантерейных магазинов на углу

Дерибасовской и Преображенской, против кафедрального собора и памятника Воронцову.

Впоследствии на этом углу был выстроен знаменитый одесский пассаж, несколько не уступающий парижским пассажам на Больших бульварах.

Одесский пассаж несколько раз горел, что дало местным острякам сочинить на этот случай довольно глупые куплеты;

«По дешевой распродаже продается все в пассаже, по копейке, по грошу, покупателей прошу».

Одесские магазины имели вполне европейский вид, а приказчики в визитках и полосатых штучных брюках, в высоких стоячих воротничках, с напояженными проборами от лба до затылка на английский манер, и с закрученными усами на немецкий манер, и с бородками а-ля Наполеон III на французский манер, с перстнями на хорошо вымытых руках представлялись наимоднейшими европейцами.

Дедушка разворачивал пакеты, извлекал из них набранные для бабушки отрезы легкой шерстяной материи или тяжелого лионского бархата, причем на углу каждого отреза висел маленький бумажный сверточек в виде треугольника, где находилась свинцовая пломба — свидетельство того, что товар настоящий заграничный и прошел через таможню.

Бабушка прикладывала на себя материи, смотрела в зеркало кокетливыми глазами. Она была такая хорошенькая «таракуцка», что ее несколько не портила довольно заметная беременность, сделавшая ее отчасти похожей на грушу.

Особенный восторг вызвал платок, то есть, вернее сказать, большая кашемировая шаль с турецким рисунком огурчиками и густой бахромой. Эта шаль была так велика, что бабушка закуталась в нее с головы до ног и вертелась перед дедушкой, лицо которого сияло счастьем.

Не была забыта и нянька: ей досталось пять аршин бумазеи на платье с таким простеньким, но вместе с тем миленьким рисуночком, что на миг у бабушки даже мелькнула мысль, не взять ли этот отрез бумазеи себе на халатик. Но доброе сердце победило искушение, и бумазея была отдана няньке.

Самый главный подарок дедушка приберег на конец. Он извлек из заднего кармана дорожного сюртука коробочку и торжественно вручил ее бабушке.

Она открыла и ахнула.

В коробочке в розовой вате лежали, как птенчик в гнезде, маленькие дамские часики с эмалью.

— Настоящие швейцарские, от Баржанского! — не без гордости провозгласил дедушка, произнеся фамилию Баржанский с таким видом, точно это было имя какого-то знаменитого полководца, причем самодовольно разгладил свои уже порядочно отросшие бакенбарды.

Баржанский был владельцем одного из лучших часовых магазинов на всем юге России, однако не самого лучшего: лучшим считался магазин Пурица и К^о, у которого можно было приобрести неслыханной красоты дамские часики чистого золота и даже усыпанные алмазиками.

Говоря правду, бабушка втайне мечтала о золотых часиках от Пурица и К^о. Но дедушка не заметил мгновенного разочарования бабушки, а бабушке не стоило большого труда так же мгновенно полюбить часики от Баржанского, и дело кончилось традиционным семейным восклицанием:

— Ах, какая прелесть!

Сейчас я неясно помню эти бабушкины часики «от Баржанского», которые заводились по-старинному, ключиком, и которые я однажды, гостя в Екатеринославе и оставшись один в бабушкиной комнате, стал заводить и, конечно, перекрутил пружину, так что часики пришлось отдавать в починку. За это я получил по рукам, но не слишком больно, потому что у бабушки были добрые, пухлые руки.

Зато турецкую шаль помню очень хорошо.

Эта шаль была так связана с представлением о бабушке, что бабушку и шаль было трудно отделить друг от друга: бабушка никогда не расставалась с этой шалью.

Бабушка и шаль старели на моих глазах, хотя я познакомился с ними, когда они были уже и не столь молоды.

С течением времени у бабушки на глазу появилось сначала еще не очень заметное бельмо, а шаль потерялась, но все же еще производила впечатление богатой вещи.

Последний раз я видел бабушку в самый разгар гражданской войны и военного коммунизма, летом 1919 года в Екатеринославе (который тогда еще не был переименован в Днепропетровск), где моя батарея по дороге на фронт пополнялась патронами.

Белые наступали на нас от Ростова на Лозовую, узловую станцию, имевшую решающее тактическое значение, и мы очень торопились поспеть туда вовремя.

Все же я решил съездить в город для того, чтобы хоть на десять минут повидаться с бабушкой, предчувствуя, что это будет наша последняя встреча, тем более что она, эта встреча, была как бы predetermined самой судьбой: наш эшелон мотался по местам, связанным с молодостью бабушки и дедушки.

Мы проезжали по стране дедушкиной молодости, где он служил после кавказской войны, о чем уже здесь упоминалось.

Мы проезжали через Мелитополь, Пятихатку, Бирзулу, Знаменку, ту самую Знаменку, где была свадьба дедушки и бабушки, пока нас наконец не занесло на запасные пути Екатеринослава, где мы должны были дожидаться боеприпасов.

В Екатеринославе закончил свою службу и вышел в отставку дедушка, туда меня возили из Одессы, когда я был совсем ребенком, там дедушка умер в первом году XX века, так и не дописав своих мемуаров.

Я сел в реквизированный экипаж, который моя батарея возила с собой в эшелоне, и на паре чесоточных лошадей, с босым красноармейцем на козлах поехал по городу, за несколько дней до этого разграбленному бандой батьки Махно.

Поднимаясь в гору по некогда нарядному тенистому бульвару, по которому в пору моего детства с жужжанием и звоном бегали вагончики первого на юге России электрического трамвая, чьи рельсы теперь заросли травой, я с трудом узнавал улицы, разбитые окна, выломанные металлические шторы магазинов, грязные вывески, тротуары, некогда такие чистенькие и политые из шлангов, а теперь усыпанные сухим мусором и битым стеклом, нестерпимо резко блестящим под лучами яростного и вместе с тем какого-то как бы пьяного июньского солнца.

Всюду было пусто, безлюдно, как будто город опустошила чума.

Долго не мог я найти бабушкин дом.

Я с трудом узнал знаменитый Потемкинский парк на высоком берегу Днепра, знакомый мне с детства своими вековыми дубами, а теперь наполовину вырубленный.

Черные бархатные бабочки со сложенными крыльями сидели на громадных древесных пнях.

Перед Археологическим музеем, на пустыре, потонувши в разросшемся бурьяне, стояли знакомые мне каменные плосколицые скифские бабы, провожающие меня еле намеченными глазами.

Далеко внизу, отливая оловом, струился широкий Днепр.

Появление моего экипажа посреди пустынной улицы у крыльца знакомого дома вызвало переполох: в окнах заматались женские фигуры. Мне долго не открывали. Наконец после звяканья каких-то многочисленных крючков и засовов упала последняя цепочка, дверь отворилась, и я увидел перед собой сильно постаревшую бабушку, завернутую в потертую турецкую шаль, так хорошо мне знакомую, но забытую.

Завидев меня, бабушка сначала испугалась и даже несколько отпрянула, но тут же узнала меня и радостно вскрикнула, и я бросился в ее мягкие объятия, прижавшись лицом к кашемировой турецкой шали, пропахшей множеством семейных, бачеевских, екатеринославских запахов.

Бабушка отвела меня от себя на расстояние вытянутых рук и, продолжая крепко сжимать пальцами мои предплечья и не отпуская меня от себя, почти с ужасом смотрела на мой френч со споротыми погонами, на

фуражку, где вместо выпуклой офицерской кокарды краснела плоская пятиконечная звездочка, на цейсовский полевой бинокль, болтающийся у меня на груди.

— Боже мой, ты служишь у красных! — воскликнула она.

— Да, я командир батареи.

Видимо, это понравилось бабушке, которая привыкла уважать воинские должности, и даже ей немного польстило, что ее внук, несмотря на свою молодость, уже командует батареей, что в переводе с артиллерийского на пехотный означало, что я батальонный командир.

Меня окружили сбегавшиеся из всех комнат тетки, мамы сестры, проживавшие все вместе в своем екатеринославском гнезде.

Они не столько ужаснулись, сколько были поражены тем, что я, их племянник, офицер русской армии, внук генерала — участника покорения Кавказа и правнук героя Отечественной войны 1812 года капитана Нейшлотского полка Елисея Бачея, служу в Красной Армии.

Впрочем, времени для объяснений не было. В моем распоряжении оставалось не более десяти минут, и мой кучер-красноармеец уже несколько раз подозрительно заглядывал в окна и стучал в стекла кнутом.

Я перецеловался со всеми тетками, которые, узнав, что моя батарея скоро идет в бой, стали меня крестить и благословлять.

В знакомых комнатах было неуютно, незнакомо, беспорядочно. На постаревших обоях я увидел увеличенный портрет покойного дедушки в генеральском мундире, с бакенбардами, как у Александра II.

Общий разговор был сумбурный, отрывистый. Бабушке хотелось напоить меня чаем с клубничным вареньем, сохранившимся в кладовке от лучших времен, ей хотелось рассказать мне о своей жизни, о моей покойной маме, о дедушке, о его записках, которые она предполагала отдать мне вместе с сафьяновым портфелем, где хранились также записки моего прадеда, хотелось узнать о папе, о брате Жене, но время мое было на исходе.

Кучер снова постучал в окно.

Я вышел на крыльцо, как бы покрытое кружевной тенью цветущей белой акации. За мной следом бежала бабушка в домашнем капоте, поверх которого была накинута упомянутая турецкая шаль. Бабушка переваливалась, как утка, своим отяжелевшим телом. Слезы катились по ее пухлому лицу с бельмом на глазу, что делало ее похожей на Кутузова, и она, стоя на крыльце, еще долго крестила удаляющийся батарейный экипаж, кожаные крылья которого сухо блестели на солнце.

...И вот наш эшелон уже на всех парах мчался в сторону Лозовой, не останавливаясь на станциях и разъездах, и на открытых площадках со стуком подпрыгивали на стыках наспех закрепленные трехдюймовки и зарядные ящики, возле которых сидели часовые, опустив ноги в черных обмотках за борт платформы, и в теплушках ржали и били копытами батарейные лошади, а вокруг сколько хватало глаз расстилались необъятные южные поля густой спелой пшеницы, стекловидно желтевшей под раскаленным солнцем; из мотающегося в хвосте эшелона почтового вагона, обклеенного революционными плакатами и портретами Ленина, два политработника в толстовках выбрасывали на полустанках пачки листовок, летающих в воздухе, как стаи чаек; а на горизонте в мучительно безоблачном небе уже то и дело вспыхивали, разрываясь, черно-белые облачка шрапнели, и сквозь грохот летящего поезда доносились звуки артиллерийской пальбы.

Это на Лозовую с Дона наступали деникинцы.

...товарищи, мы в огненном кольце!..

Скоро все улеглись спать, но в доме все еще царил дорогой запах импортной мануфактуры, а на кухне в углу за плитой лежала гора смятой оберточной бумаги.

«На другой день пошел в канцелярию, и все пошло своим порядком», — замечает дедушка со свойственным ему философским педантизмом.

«В Керчи была превосходная итальянская опера Корона. Мы посещали театр не менее трех раз в месяц, а иногда и чаще. Ложа стоила 4 рубля. Перед Пасхой у меня явилась еще одна маленькая дочь, Александра,

таким образом, стало налицо их две: Наденька и Сашенька».

«Пасха довольно поздняя и потому очень теплая».

Ах, как, наверное, хороша была эта южная степная причерноморская поздняя весна среди холмов и развалин древних греческих и генуэзских городов и крепостей, подтверждавших догадки ученых, что Черное море есть всего лишь залив Средиземного.

Этой мирной весной еще сравнительно молодой дедушка сразу как-то возмужал, стал солидным семьянином с отличным служебным положением и хорошими видами на будущее. Дела его шли прекрасно, он успешно продвигался по службе, начальство его любило, и материально он был недурно обеспечен: помимо офицерского жалованья, различного рода суточных, прогонов, кормовых, командировочных денег, дедушка получил кое-что от своей матери: от продажи скулянского имения. Правда, наследство это делилось на несколько частей, но все же дедушке, по-видимому, кое-что перепало.

Чувствуя себя хозяином хорошей квартиры, счастливым мужем и отцом, дедушка захотел упрочить свое общественное положение, устроив у себя для гостей богатый пасхальный стол, что должно было как бы утвердить его положение в гарнизоне. А может быть, он просто хотел слегка похвастать своими достоинствами.

«Помню, — пишет дедушка, — как хлопотала жена, приготавливая вместе с кухаркой и денщиком множество всякого пасхального печенья. Однако, когда начали накрывать раздвинутый на три доски обеденный стол, оказался недостаток некоторой посуды. Пришлось послать к Ивановым просить одолжить, но получили отказ. Это очень меня задело».

«Несмотря на довольно позднее время — было уже часов 8 вечера страстной субботы, — я, чтобы успокоить жену, сам отправился в лавки и купил недостающие тарелки и большое блюдо для жареного поросенка».

«Когда я, до подбородка нагруженный покупками, шел домой, повстречалась мне компания молодых женщин и стала со мной разговаривать, заигрывать. Но, само собой разумеется, я молчал. Это их задело, и они сказав:

— Это всегда так с женатыми. Толку с них мало, — отошли от меня прочь, а я спокойно пошел домой».

По всей вероятности, это небольшое уличное происшествие произвело на дедушку довольно сильное впечатление, иначе с какой бы стати он вспомнил о нем на старости лет и внес в свои записки?

Судя по всему, время было позднее, на улице южного города в таинственной сладострастной тени уже распустившихся акаций стоял теплый, сладостный запах молодых листьев, над городом еще плыл великопостный колокольный звон, к божьим храмам тянулись богомолки святить куличи, завязанные в салфетки, и во всем уже чувствовалось раздражающее нервы какое-то любовное волнение, предчувствие того таинственного мига, когда вдруг в церквях как по волшебству траурные ризы священников превращаются в золотые, розовые, сверкающие, пасхальные, тысячи свечей, зажженные пороховым шнуром, вспыхивают в люстрах, открываются настезь царские врата — и грянет разноголосое ликующее «Христос воскрес» как весть того, что жизнь восторжествовала над смертью и теперь под трезвон пасхальных колоколов всем надо любить друг друга, и целоваться, и обмениваться пунцовыми крашенками.

В эту пасхальную ночь по обычаю южно-русских городов на улицу вышли искательницы приключений, веселые керченские полукровки — полухохлушки-полугречанки в нарядных шляпках в надежде подцепить на всю пасхальную ночь красивого кавалера и всласть с ним нахристосоваться где-нибудь в укромном уголке городского сада или на кладбище в кустах сирени.

Очень может быть, что солидный женатый дедушка, нагруженный до подбородка пакетами с посудой, при виде керченских мессалин пожалел, что он не холостяк, и вспомнил свои былые поездки к Пухинихе и веселые посиделки в ее хате. Но холостая жизнь для него навсегда прошла со всеми ее соблазнами; он был озабочен судьбой своего пасхального стола и торопился к ожидающей его нежно любимой супруге...

Как ни старались ночные феи соблазнить весьма недурного собой офицера, как ни уговаривали его своим колдовским шепотом пойти с ними сначала в церковь, а потом на кладбище христосоваться, но дедушка проявил похвальную твердость характера.

...Может быть, если бы не посуда...

— Ну что, на самом деле, — шептали феи. — Ей-богу, паныч, пидемо с нами, не пожалееете.

Но дедушка оставался непреклонным, хотя, правду сказать, и испытывал некоторый соблазн.

И феи наконец от него отстали, сообразив, что это «пустой номер».

— Да вы, наверное, уже обкручены. Жаль, что такой пиковый офицерик и уже, наверное, женатый. Идите себе с богом домой, христосуйте со своей жинкой!

Супружеская верность восторжествовала, и заливной поросенок с зеленой петрушкой в оскаленных зубах был водружен на большое новое блюдо между окороком с задранной кожей и перламутровой костью и высокими пасхами с сахарными барашками на белоснежных куполах.

А в квартире было жарко, духовито, пахло горячей сдобой, шафраном, ванилью, кардамоном, и на кухне сохли только что выкрашенные пунцовые, лиловые, зеленые, алые яйца, разложенные на тарелке вокруг горки с проросшей чечевицей.

Разговены прошли на славу, так что даже сестре бабушки мадам Ивановой, той самой, которая отказала в посуде, пришлось позавидовать, а командир полка Шафиров, известный кавалер, дамский угодник и бонвиван, в темном парадном мундире отличного сукна, с высоким воротником, прищемившим ему кожу под подбородком, распространяя вокруг запахи цветочного одеколona и бриллиантина, похристосовался с бабушкой и дедушкой, выпил рюмку рябиновки и закусил ломтем сочной ветчины, предварительно намазав его таким толстым слоем нежинской горчицы, что слезы выступили у него на глазах.

«23 апреля, в день св. Георгия, весьма чтимого греками, весь город собрался с утра в греческий монастырь. Мы с женой и маленькой Надей тоже отправились туда в экипаже».

«Народу масса. Пробыться в церковь и думать нечего. Сели на траву под большим деревом. Отличный вид на окрестности. Посидели час, наслаждаясь солнцем, воздухом, весной, до тех пор, пока кончилась служба. Из церкви до нас доносились только звуки хора, которые делали все вокруг еще более прекрасным, торжественным, праздничным».

«Потом поехали домой».

«Надя очень милый ребенок. Ей полтора года и она уже ходит. Всю дорогу она нас веселила своим лепетанием».

(Наверное, девочка, повторяя вслед за родителями, любующимися античными окрестностями Керчи, восклицала: «Кука пьелесть!»)

А дома еще лежала в колыбельке грудная Сашенька.

«В мае месяце по вечерам мы проводили время в саду Китлера в двух верстах за городом, куда выезжали в экипаже, что еще более увеличивало наше удовольствие от прогулки».

«Наступила зима. Тут уже пошла езда на тройках, на розвальнях, крытых коврами. Это доставляло нам немалое развлечение: вспоминалась та незабвенная масляная неделя в Знаменке, когда мы с Машей впервые мчались на санях в облаках снежной пыли; у Маши только одни глазки блестели из-за муфты. А теперь мы уже давно муж и жена, у нас две девочки, дом — полная чаша, вокруг мир и благоволение, никакой войны, живи — не хочу!»

«6 декабря, на Николу Зимнего, Шафиров по обыкновению давал обед, а потом танцевальный вечер с ужином».

Эти свои светские привычки неугомонный Шафиров протащил с собою через всю войну, по всему кавказскому фронту, кажется, даже умудрился устроить танцевальную вечеринку во время очередной осады какой-то крепости.

«Таким же образом встретили и Новый год: с полковым оркестром, танцами и пробками цимлянского в потолок. Все шло радостно, печали не было. Словом, окончательно втянулись в мирную жизнь. Теперь можно было подвести кое-какие итоги минувшей кампании».

Впрочем дедушка об этом мало думал; во всяком случае, ничего об этом не писал. Приходится заполнить

этот пробел.

Вот что я вычитал в «Истории XIX века»:

«...в момент, когда вспыхнула Крымская война, русское владычество прочно утвердилось только на юге Кавказа, между Черным и Каспийским морями, в долине, отделяющей Армянский горный массив от Кавказского. В последнем направо и налево от Дарьяльской военной дороги (ныне Военно-Грузинская) горцы были почти независимы: на востоке Шамиль и его мюриды были хозяевами Дагестана; на западе абхазцы и черкесы, жившие на протяжении трехсот километров вдоль Черного моря, хотя и признавали номинально русское верховенство, однако свободно сносились с Турцией, обменивали там рабов на оружие и боевые припасы, которыми они большей частью пользовались против пограничных кубанских казаков. Восстание всех этих народов во время Крымской войны подвергло бы Россию более значительной опасности, чем падение Севастополя. К счастью для нее, союзники не предприняли ничего серьезного в этом направлении».

Прибавлю от себя, что и дедушка там воевал неплохо.

«...в сущности, несмотря на свои высокомерные заявления, русское правительство желало мира; истощение России делало этот мир с каждым днем все более необходимым, но нельзя было сложить оружие до решающих военных действий. „Сначала возьмите Севастополь“, — говорил в Вене князь Горчаков представителям держав. Севастополь был взят. Но несколькими неделями позже успех русских — взятие Карса — дал возможность удовлетворить их самолюбие и облегчить переговоры. Мир был заключен. Окончив войну, русское правительство поспешило покончить с опасностью, которой ему удалось избежать почти чудом».

«Русские войска (...и дедушка в их числе...), продвигаясь со всех сторон вперед, проводя дороги, устраивая форты при всех выходах из долин, покоряя одни племена за другими, принудили Шамиля запереться в Гунибе, почти недоступном ауле, который был взят приступом после ожесточенной борьбы...»

Это был, в сущности, всего лишь небольшой, хотя и важный эпизод, в конечном итоге связанный с многовековой историей борьбы России с Оттоманской империей за выход к Черному морю.

То, что в свое время не удалось Петру, то удалось его потомкам, в том числе моему прадеду и моему деду.

...Они не зря проливали кровь на полях многих сражений...

«Наступил 1863 год... мы переехали на другую квартиру, заняв теперь целый особняк. Поездки за город в сад Китлера, вечера у Шафирова, работа в канцелярии... Дни шли незаметно...»

«Но тут подошло польское восстание, которое разделило общество нашего полка. Русские и поляки стали держаться отдельно, питая друг к другу неудовольствие».

«6 декабря, в день полкового праздника, за обедом у Шафирова я предложил послать телеграмму Муравьеву в Вильно. Русские офицеры поддержали меня. Шафиров согласился тоже, поручив мне написать ее. Я тут же составил и прочел. Все русские офицеры одобрили. Шафиров подписал. И я тотчас сам отвез ее на телеграф на станцию. Вот ее содержание:

„Литовский егерский полк, празднуя сегодня день своего полкового праздника, не мог пройти молчанием Ваше имя, столь дорогое для каждого русского, преданного государю, престолу и отечеству. Пьем за здоровье Ваше, за дела Ваши! Подписал от лица офицеров полковник Шафиров“.

„Через два дня позвал меня Шафиров и дает прочесть полученный ответ, в котором Муравьев благодарит за приветствие и шлет свой привет полку из усмирненной Литвы“.

„— Вы, — сказал мне Шафиров, — виновник этой телеграммы. Отдайте ее в приказе по полку и сохраните у себя на память“».

Мне крайне неприятно приводить эти строки из дедушкиных записок. Но что делать — из песни слова не выкинешь...

События в Польше раскололи на две части все русское общество, даже, как мы видим, офицерство.

Историки говорят, что в 1863 году в восставшей Польше и Литве было, по-видимому, не больше 6 или 8 тысяч инсургентов, разделенных на большое количество мелких отрядов. Они вообще не могли держаться

против русских ввиду численного превосходства последних, но спасались от их преследования благодаря густым лесам, содействию местного населения и служащих, уроженцев страны. Чтобы покончить с восстанием, понадобилась армия в 200 тысяч человек и военная диктатура. Генералы Берг в Варшаве и Муравьев в Вильно, облеченные всей полнотой власти, расправлялись с диким произволом, поддержанные консервативным русским общественным мнением.

Характеризуя позицию, занятую русскими «либералами» по отношению к восставшей Польше, Ленин подчеркивал, что подлинные демократические элементы русского общества держались совершенно иной позиции.

Увы, дедушка не был не только «подлинно демократическим элементом», но даже не был простым «либералом», хотя бы и в кавычках. Он был заурядным армейским офицером, прошедшим суровую школу кавказской кампании по усмирению горских племен. Для него восстание поляков было нечто вроде восстания Шамиля. Он мало разбирался в политике. Он был всего лишь исправным служакой, готовым положить свой живот за веру, царя и отечество.

«Наступил 1864 год. Все шло по-прежнему. К 1 мая мы переехали на новую квартиру в доме грека, отставного чиновника, на Николаевской улице. Во дворе во флигеле жил сам грек со своей семьей, а на углу, в фасадном доме, — я. Пять комнат и крытая галерея за 240 рублей в год, с конюшней и сараем для экипажей, которых у меня было уже два: коляска и дрожки, а еще крашеный немецкий фургон».

«Жилось хорошо и весело».

«В сентябре наш знакомый доктор Сохраничев женился на мадемуазель Штурба. Мы были на свадьбе, а потом часто навещали молодых, живших также на Николаевской улице. Через месяц Сохраничевы уехали по переводу мужа в артиллерию Московского военного округа».

«Наступил 1865 год. Собрания офицеров полка у меня в доме продолжались как и прежде».

По-видимому, дедушка и бабушка жили зажиточно, может быть, даже богато; у них был открытый дом, и своим хлебосольством они уже начинали соперничать с самим Шафировым.

Дедушка отпустил бакенбарды и стал походить лицом на императора Александра II, а бабушка еще более расцвела, раздобрела и как полковая дама, хозяйка открытого дома, затмила свою старшую сестру мадам Иванову, жену адъютанта.

«Прошла масленая, наступил великий пост, а затем и святая Пасха. Все шло как прежде».

«В июне произошел казус, о котором не могу не вспомнить»:

«Офицер полка подпоручик с курьезной фамилией Пехота, из фельдфебелей 17-й дивизии, произведенный в наш полк пять лет тому назад, был большим любителем рюмки водки».

«В июне, будучи в лагере дежурным по батальону и захотев выпить на чужой счет, отправился он в землянку женатых солдат проведать, нет ли у солдаток продажной водки. В 4-й и 5-й ротах ему дали выпить по шкалику даром, и он уходил оттуда молча. Но в 6-й роте одна старая солдатка возмутилась столь незаконным требованием даровой выпивки и не пустила подпоручика Пехоту в землянку, куда он рвался, чтобы поискать спрятанную водку».

«Будучи уже изрядно пьян, подпоручик Пехота пришел от этого сопротивления в ярость, ворвался в землянку и с криком стал все перевертывать вверх дном».

«Баба, возмутившись таким поведением пьяного офицера, стала его бранить. Пехота ударил ее по лицу. От этого баба еще больше разъярилась, начала в свою очередь бить Пехоту по лицу, сорвала с него погоны и с бранью вытолкала вон».

«Пехота, будучи пьян, от такого приема упал за хатой и уснул. Дали знать дежурному по полку. Дежурный по полку велел поднять подпоручика Пехоту и перенести в палатку. Назначив другого дежурного по батальону, дежурный по полку о поступке Пехоты донес рапортом командиру полка».

«Все офицеры были возмущены Пехотой. Я, как член суда чести офицеров, стал говорить, что это подлый, постыдный поступок».

«Командир полка, получив рапорт дежурного, отдал приказание суду чести разобрать все дело. Мы — то есть суд — потребовали сведения от офицеров, знающих дело, опросили солдат, бывших дневальными и дежурными по роте, видевших все происшествие. Как офицеры, так и солдаты все показали одно: что Пехота в мундире ходил по землянкам и требовал показать ему, где спрятана водка, и что хозяева подносили ему по шкалику, которые он тут же выпивал, а затем уходил в другие землянки, пока не попал в землянку женатого солдата 6-й роты, где встретил сопротивление опытной солдатки-шинкарки и, будучи уже совершенно пьян, ударил бабу по лицу; та в свою очередь дала ему сдачи, порвала на нем мундир и выставила за дверь, после чего он упал и уснул».

«Прочитав все показания, я стал требовать, чтобы Пехоту удалили из полка, предоставив ему подать в отставку. Все члены согласились со мной за исключением председателя суда чести подполковника Соколова, который полагал спросить сперва мнения командира полка. Я говорил, что поступок Пехоты так грязен, что Пехота не может оставаться в полку».

«На другой день утром Соколов доложил обо всем Шафирову, причем присовокупил, что я в особенности требую и настаиваю на удалении Пехоты из полка».

«Шафиров потребовал меня к себе. Когда я прибыл, он с пеной у рта набросился на меня: как я смею требовать удаления Пехоты из полка, когда командир полка он, Шафиров, и что это его дело — увольнять офицера из полка или не увольнять. Я стал возражать, говоря, что нас зачем-то избрали судом чести и он сам приказал нам разобрать это дело».

«Шафиров накричал на меня, что это не мое дело, потом, повернувшись быстро спиной ко мне, убежал в соседнюю комнату, а я, выйдя вон, сейчас же написал телеграмму брату в Одессу, прося его посодействовать в штабе округа о назначении меня в юнкерское училище, так как я больше в полку служить не хочу».

«Через две недели была получена бумага из окружного штаба через дивизию о неимении препятствий для назначения меня в Одесское юнкерское училище. А еще через две недели последовал приказ по округу о назначении меня адъютантом-казначеем училища».

«После первой телеграммы Шафиров, встретившись со мной в садике, где было гулянье, подозвал меня и ласково спросил:

— Зачем вы оставляете полк?»

«Я, ответил, что после происшедшего относительно подпоручика Пехоты мне невозможно оставаться в полку».

«Шафиров, пожурив меня, ласково простился и ушел».

«По получении приказа по округу Шафиров спросил меня, не могу ли я порекомендовать кого-нибудь на место себя. Я указал на прапорщика Щербака как хорошего офицера. Шафиров, собрав батальонных командиров, поручил мне переговорить с офицерами относительно избрания Щербака. Батальонные командиры переговорили со своими офицерами, которые согласились на кандидатуру Щербака. По докладе Шафирову тот отдал приказ относительно избрания. Выборы состоялись, избирательные листы подписаны, и Щербак в три дня принял от меня должность».

(Какая это была должность, дедушка не упоминает. Вероятно, какая-нибудь штабная, может быть, казначея или чего-нибудь вроде. Видимо, после войны дедушка не занимал строевых должностей.)

История с подпоручиком Пехотой, столь неожиданно кончившаяся для дедушки, отчасти проливает свет на порядки в русской армии того времени. Была какая-то демократия, выборность, но все это имело чисто показной характер. Выборность была при обязательном единоличном утверждении вышестоящим начальником, в данном случае командиром полка — полновластным хозяином своей части.

Комический случай с Пехотой дает возможность сопоставить два человеческих характера, весьма, я думаю, распространенных в дореволюционной русской армии, два офицерских типа: тип дедушки и тип Шафирова, тип идеалиста и тип практика. Оба хотя и дворяне, белая кость, но очень отличаются друг от друга.

Дедушка — молодой офицер, трезвенник, аккуратист, блюститель офицерской чести.

Шафиров — немолодой полковой командир, холостяк, весельчак, любитель всяческих танцевальных вечеров, банкетов и полковых праздников, дамский угодник, обаятельный кавалер, что не мешало ему отлично воевать и быть хорошим командиром, любимцем как офицеров, так и нижних чинов.

Дедушка, будучи членом полкового суда чести, подошел к поступку подпоручика Пехоты неумолимо строго и потребовал удаления Пехоты из полка, что по всем понятиям об офицерской чести было справедливо.

Однако Шафиров не только с дедушкой в этом вопросе не согласился, но даже был, как пишет дедушка, «разъярен» тем, что тот потребовал изгнания Пехоты из полка в отставку.

Шафиров подошел к делу не с высоты своего дворянства, а очень просто, по-хозяйски, прекрасно понимая характер провинившегося подпоручика Пехоты, который, будучи произведен в офицеры из нижних чинов за образцовую строевую службу, в сущности, продолжал оставаться все тем же солдатом. Ему захотелось выпить — и он, как человек простой, не пошел к офицерам, а пошел шарить по семейным солдатским землянкам, прекрасно зная, что у своего брата солдата или у солдатской женки-шинкарки всегда найдется для него шкалик водки и соленый огурец — и все будет шито-крыто. Свой брат солдат его не выдаст. Таким образом он очутился в землянке старой солдатки, промышлявшей шинкарством. Баба не захотела ему дать водки даром, и они по-простецки подрались: она разодрала на нем мундир, сорвала погоны, подбила глаз, а он устроил в землянке дебош, за что и был вытолкан в шею на свежий воздух, после чего мирно заснул на земле, по-детски сопя и чмокая губами под рыжими мокрыми усами.

Подобные истории случались с ним частенько, и дело это, собственно, не стоило выеденного яйца: ну, пьяный мужик подрался со сварливой бабой, с кем не бывает.

Посадить его на десять суток на гауптвахту — и дело с концом.

А тут раздули целое дело: товарищеский суд, офицерская честь и тому подобный вздор.

Шафиров же правильно понял все это происшествие. Ему вовсе не хотелось как рачительному хозяину полка из-за пустяков терять опытного офицера «из простых», то есть человека, знающего в совершенстве солдатскую душу. Таким офицерам цены нету!

А дедушка-чистюля этого не понял, и Шафиров чуть было не лишился такого в высшей степени полезного офицера, как Пехота, по сравнению с которым все эти франтики вроде дедушки немного стоили, ибо армия держится именно на таких сверхсрочных унтер-офицерах и фельдфебелях, из каких выбился в офицеры Пехота.

Разумеется, Шафиров вызвал к себе Пехоту и втихую дал ему хорошую взбучку, может быть, даже раза два съездил по уху, даром что Пехота был господин офицер.

Дело это обошлось как нельзя лучше, келейно. И подпоручик Пехота остался доволен, что его не турнули из полка, и Шафиров не потерял нужного человека.

А дедушке пришлось перевестись из полка в штаб округа.

«15 сентября 1865 года Шафиров дал мне прощальный обед с собранием всех офицеров. За шампанским Шафиров, а потом и офицеры говорили речи и выражали свое удовольствие за мою службу и сохранение их интересов. В свою очередь, я благодарил их за внимание и доверие, которое они мне оказывали».

Видимо, дедушка исполнял в полку какую-то общественно-выборную должность, может быть, ведал кассой взаимопомощи.

«Я забыл сказать, — пишет дедушка, — что в сентябре 1864 года заболевшая сильно маленькая дочь моя Саша умерла. Похоронив ее рядом с Надей, остался безутешным, но ожидал через месяц прибыли новой, которая завершилась 26 октября 1864 года рождением дочери Клеопатры, то есть попросту Клёни. Крестины были спустя месяц после рождения. Шафиров был крестным отцом, а мадам Метемилио крестной матерью».

Эту маленькую девочку я хорошо помню как старшую мамину сестру — Клеопатру Ивановну, «тетю Клёню». В детстве она казалась мне уже старухой с лицом Пиковой дамы. Она дожила до советской власти и умерла в двадцатых годах в Екатеринославе, через год или два после того, как я в последний раз виделся с бабушкой по дороге на фронт, о чем здесь упомянуто.

Помню, до революции тетя Клёня служила в Контроле, и это слово было в моем представлении тесно связано с ее именем Клёня. Слова «контроль» и «Клёня» слились в некое единое звукосочетание, напоминающее также щелканье подков по мостовой, звук звонка конки, на которой тетя Клёня ездила служить в Контроль в то время, когда в Екатеринославе еще не было электрического трамвая. Впрочем, трамвайные звонки тоже напоминали слово «Клёня».

«16 сентября 1865 года я поехал с прощальными визитами, которые длились до позднего вечера, а на другой день утром, часов в 11, поехал на пароходе в Одессу».

Дедушка ничего не пишет о том, что он испытывал, покидая Керчь.

Худой тридцатилетний офицер в летней шинели внакидку, он стоял на палубе парохода и смотрел на удаляющуюся пристань, где в толпе провожающих стояла его Маша, а рядом с ней — мамка-кормилица, держа на руках недавно родившуюся девочку Клёню. Маша была в шляпе и махала платочком. Дедушка снял фуражку с громадным, еще «севастопольским» кожаным козырьком и помахал ей в ответ.

Знакомые очертания керченских окрестностей потонули в угольном дыму, валившем из паровой трубы. Позади виднелись голубые очертания исчезающего кавказского берега, вызывая воспоминания о минувшей войне, спереди приближались очертания Крыма.

Сентябрьское солнце сияло еще довольно ярко, спокойное море расстилалось до самого горизонта, подернутого осенней дымкой, летали чайки, несколько дельфинов, обгонявших пароход, показали из воды свои спины с треугольными плавниками...

Привыкший к размеренной полковой и семейной суете и вдруг теперь оставшийся наедине с самим собой среди праздной красоты осеннего моря, дедушка почувствовал щемящее одиночество. В голову стали приходить печальные мысли о двух маленьких девочках — Наденьке и Сашеньке, — чьи могилки остались позади, на каменистой земле керченского кладбища.

Странно, что о смерти Наденьки, которая некогда так забавляла дедушку и бабушку своим прелестным лепетом, дедушка в своих записках даже прямо не упомянул!

Стоя на палубе, дедушка думал о своей жизни, половина которой прошла как-то совсем незаметно, бездумно, даже не прошла, а бессмысленно пролетела...

«...Средь этой пошлости таинственной...»

Но больше всего душевной боли причиняли ему мысли о том, что Россия не только потеряла свой черноморский флот, потопленный в Севастополе, не только пережила горечь поражения во время несчастной крымской кампании, но подписала унижительный мир, по которому не имела права иметь на Черном море ни военных судов, ни арсеналов, то есть по-теперешнему военных баз. Еще слава богу, что кавказская армия взяла Карс, что дало возможность обменять его на Севастополь, а то бы и Севостополя лишились.

Сгоревший дотла, превращенный в груды развалин, Севастополь был кровоточащей раной в сердце каждого русского человека того времени.

Стоя на спардеке и приложив ладонь к козырьку фуражки, дедушка оглядывал пустынный черноморский горизонт, не надеясь увидеть многоярусные паруса русских военных кораблей. Их не было и быть не могло. Лишь изредка появлялся скромный парус русской торговой шхуны, дубка или турецкой бригантини.

«В 5 часов вечера того же дня прибыли в Феодосию и стали на рейде. Взяв лодку, я сошел на берег и отправился навестить Карташовых. Пробыв у них час, напившись чаю, уехал обратно на пароход, который уже давал третий гудок».

Ночью прошли мимо херсонесского маяка. Поднимался крепкий ветер. Развалин Севостополя не было видно в кромешной тьме, но мысли о нем продолжали мучить.

«...Сердитый вал к нам в люки бьет, — писал примерно в то же время Полонский, — фонарь скрипит над головой; и тяжело стонет пароход, как умирающий больной... Едва ли, впрочем, этот Крым, и этот гул, и этот дым, и эти кучи смрадных тел забудешь ты когда-нибудь, куда бы ты ни полетел душой и телом отдохнуть...»

«Гром и шум. Корабль качает; море темное кипит; ветер парус обрывает и в снастях свистит. Помрачился

свод небесный, и, вверяясь кораблю, я дремлю в каюте тесной... Закачало — сплю... Просыпаюсь... Что случилось? Что такое? Новый шквал? — Плохо — стеньга обломилась, рулевой упал».

«Что же делать? что могу я? И, вверяясь кораблю, вновь я лег и вновь дремлю я...»

«Закачало — сплю».

«Снится мне: я свеж и молод, я влюблен, мечты кипят... От зари роскошный холод проникает в сад...»

Не думаю, чтобы дедушка знал эти стихи Полонского, но, несомненно, нечто подобное он испытывал ночью, когда пароход по обыкновению здорово трянуло под Тарханкутом.

(Тогда на пароходах иногда ставили парус, чаще всего кливер).

Утром ветер утих, море успокоилось, началась мертвая зыбь.

«В 11 часов утра приехали в Одессу».

Дальше дедушка со свойственной ему педантичностью сообщает, как он сначала поехал к брату, а на другой день являлся начальству юнкерского училища, а потом делал визиты офицерам, в том числе ротному командиру штабс-капитану Ивану Васильевичу Банову, «милому, любезному человеку — холостяку».

Дедушка почему-то всегда имел обыкновение отмечать семейное положение человека — холостяк ли он, или женатый, или вдовец.

«Училище помещалось на Канатной улице, в Сабанских казармах, во второй их половине; передняя часть была занята стрелковым батальоном».

Один из ротных командиров юнкерского училища был поручик Адреевский, дедушкин товарищ по гимназии.

Так прошли первые дни пребывания дедушки в Одессе. Все здесь было ему знакомо с юных лет. Сабанские казармы — одна из достопримечательностей города — каменное громоздкое здание, некогда принадлежавшее Каролине Собаньской, несметно богатой польской аристократке, у которой бывал во время своего пребывания в Одессе Адам Мицкевич, кажется, бывал и Пушкин; затем полукруглая белокаменная колоннада возле Воронцовского дворца, как бы повисшая в голубом воздухе над раскинувшейся глубоко внизу гаванью, над мачтами парусников и трубами пароходов, которые еще недавно назывались «пироскафами»; гимназия, откуда дедушка отправился волонтером в действующую кавказскую армию; знаменитая лестница; памятник дюку де Ришелье, символически простершему свою античную руку в сторону Стамбула; пушка с потопленного английского фрегата «Тигр»; бульвар, его пятнистые платаны; городской театр; Ришельевский лицей...

Все это имело для дедушки особый смысл: здесь он был гимназистом, мальчиком, а теперь вернулся тридцатилетним отцом семейства, героем кавказской войны.

«Остальные дни недели я был занят приисканием квартиры, которую нашел на углу Ришельевской и Базарной улиц в доме Чижевича. В ожидании приезда жены прикупил некоторую мебель».

«Скоро приехала жена, которую я встретил на пристани. Она привезла остальные вещи и двух человек солдат; один из них был наш денщик Иван, другой временно дан из полка как вестовой сопровождать жену».

Вместе с бабушкой приехала и маленькая Клёня, которую держали на руках.

Веселая, энергичная, добрая бабушка, тогда еще совсем молодая женщина, сразу же разогнала меланхолию дедушки. Весь мир вокруг него как бы озарился ласковым южным светом.

Бабушка бегала по новой квартире среди узлов и неразобранных корзин, баулов, портпледов и чемоданов, то и дело цепляясь шлейфом за мебель.

Она хвалила квартиру, время от времени обнимала и целовала дедушку в бакенбарды, немножко с ним вальсировала, мысленно размещала обстановку и определяла назначение каждой комнаты, в то время как нянька варила на спиртовке кашку для маленькой Клёни.

В голые окна, еще не одетые занавесками, светило золотое сентябрьское солнце, проникавшее с улицы сквозь мелкую зелень еще не пожелтевших акаций, а с Ришельевской улицы долетали звонки конок, щелканье подков по гранитной мостовой, дробный стук дрожек, крики разносчиков и старьевщиков — беспорядочный уличный гам.

«В 3 часа, после того как брат вернулся из банка, мы отправились к нему. Я познакомил его с моей Машей. Мы поговорили о том о сем и через два часа пошли домой».

Как читатель уже знает, старший брат дедушки Александр Елисеевич, крупный одесский банковский служащий, один из столпов местного общества, обладавший большими связями, что видно хотя бы из того, с какой легкостью он устроил перевод дедушки из Керчи в Одессу, не одобрял женитьбы дедушки на хорошенькой бесприданнице. Однако дедушка поставил его перед совершившимся фактом. Неизвестно, понравилась ли старшему брату жена младшего. Судя по сухому замечанию дедушки «мы поговорили о том о сем и через два часа пошли домой», старший брат не вполне примирился с выбором младшего брата. Но делать было нечего. Неохотно, но все же он признал свою бель-сер, и, таким образом, с этого дня бабушка вошла в одесское общество.

«Из дома пошли мы с Машей по лавкам покупать что нужно для обстановки. Купили мебель, зеркала, швейную машинку, пианино и все прочее, что нужно».

...Они уже не были молодоженами, но совместная покупка новой мебели и прочих предметов домашнего обихода всегда возвращает супружескую пару к первым дням совместной жизни. Устройство нового гнезда еще больше их сблизило, возвратив весь пыл слегка остывшей страсти.

Бабушка, по рождению одесситка, уехавшая некогда из родного города молоденькой девушкой, вернулась обратно женой офицера, матерью семейства, полковой дамой.

Со свойственной ей энергией она ходила быстрым мелким шагом под руку со своим мужем по магазинам, выбирая необходимые вещи. Она с детских лет знала, где что можно дешево купить. Они обошли Ришельевскую, Дерибасовскую, Екатерининскую, Преображенскую, заходя в магазины и выбирая вещи.

...Теперь уже война отступила в такую глубокую даль, что дедушка едва мог представить, что все это — и рубка леса, и пылающие сакли, и горные аулы среди каменных нагромождений, и снежные вершины, и древняя небольшая крепость, выстроенная некогда на возвышенности посредине Гори против турок, и самоубийство Горбоконя, и убийство унтер-офицера Гольберга, и набеги горцев, и отрубленные головы, катящиеся по окровавленной каменистой почве, — все это было на самом деле, а не приснилось.

Да и захолустная полковая жизнь в Знаменке казалась временами никогда не бывшей.

Начиналась новая жизнь в большом портовом, вполне европейском каменном городе.

Бабушка и дедушка, сделав покупки и распорядившись о доставке их на новую квартиру, веселые и довольные, напоследок отправились в Пале-Рояль — маленькую изящную копию парижского Пале-Рояля — и там, сев за круглый железный столик под сенью платанов, съели в кондитерской две порции пунша-гляссе, которым славилась эта кондитерская не только на всю Одессу, но и на весь юг Новороссии.

Пунш-гляссе представлял из себя полупрозрачное банановое мороженое в металлическом бокале. Посередине горки мороженого была сделана ямка, наполненная ямайским ромом, распространявшим тонкий опьяняющий запах, особенно волнующий в садике, пронизанном жаркими лучами сентябрьского солнца и слегка грустным ароматом подсыхающих платановых листьев.

Читатель еще прочтет в этой книге нечто о ямайском роме.

...Приподняв с хорошенького носика вуаль с мушками, бабушка облизывала маленькую ложечку розовым язычком. Ложечка была покрыта морозным туманом, и язык прилипал к ней...

Вечером на углу Ришельевской и Базарной возле ворот дома Чижевича остановились две пароконные открытые площадки, называемые в просторечии «плацформы». Они были нагружены мебелью из магазина братьев Тонет, пианино из депо музыкальных инструментов Рауша и зеркалами из магазина Зусмана, обернутыми пахучей рогожей.

Вскоре все эти вещи были внесены в квартиру, расставлены по своим местам, и бабушка села на

крутящийся на винте табурет перед пианино, открыла лакированную крышку и сыграла несколько зажигательно-веселых полечек своими проворными пальцами, а дедушка между тем искал место, где бы поставить ломберный стол. Определив его, наконец, между двумя окнами, он с удовольствием смотрел на его новенькое зеленое сукно, еще не запачканное карточными записями, сделанными особыми мелками, а потом стертыми специальными круглыми щеточками.

Дедушка разложил на ломберном столе колоду нераспечатанных карт, круглые щеточки, поставил медные шандалы с необожженными стеариновыми свечами и долго любовался всем этим картежным хозяйством, воображая, как он будет иногда устраивать для своих сослуживцев-офицеров вечеринки с танцами под пианино, легким ужином и карточной игрой по маленькой с пуншиком.

«Начали устраиваться. Через неделю я отправил вестового обратно в полк».

Началась новая жизнь, совсем не похожая на старую.

«В училище все надо было устраивать заново, все заводить сначала. 1 октября начался курс. Собственно говоря, со 2-го, так как 1-го было молебствие и освящение помещений. Первое время начальник училища Ордынский ходил в казначейство со мною вместе и полученные деньги брал к себе. Я ничего на это не возражал, думая про себя: так лучше, меньше ответственности. Ордынский скоро убедился на деле, что возиться с деньгами не так легко, как думается».

«Месяц прошел».

«Ордынский, запутавшись и приплатившись, оросил это дело и деньги дал мне — получать, выдавать и вести счета, говоря:

— Ну их к черту, эти деньги, делайте все сами, в конце концов, это ваше дело».

«С тех пор я вступил вполне в обязанности казначея, кроме того, исполнял также и должность адъютанта».

«Моя канцелярия помещалась в нижнем этаже возле ворот, с левой стороны входа; тут же в нижнем этаже были столовая и гимнастический зал».

«С первого времени письменных занятий было много, переписка большая, так что я приходил в 8 утра и работал до 3-х. Затем уходил домой обедать, через два часа возвращался и засиживался до 8 вечера. Однако через полгода переписка уменьшилась и занятия были только днем, до обеда».

«На Рождество и Новый год делал визиты Ордынскому и своим офицерам. Мало-помалу перезнакомился с одними, с другими, и жизнь пошла, как в полку, — дружно, со взаимным доверием и уважением друг к другу».

«На Рождество и масленую устраивались у нас в училище спектакли или танцевальные вечера, на которых юнкера и начальствующие плясали до света».

Можно себе представить эти спектакли на самодельной сцене, сколоченной юнкерскими плотниками, среди декораций, написанных местными малярами, освещенных рампой, состоящей из ряда олеиновых ламп с рефлекторами: переодетые в театральные костюмы юнкера-любители в париках, наклеенных усах, с подмазанными глазами, в женских юбках и кофточках, говорящие неестественными голосами, разыгрывали «Женитьбу» Гоголя, и публика на скамейках и стульях умирала от хохота, когда Подколесин прыгал в трясущееся полотняное окно, в то время как из рубчатой раковины суфлерской будки, по сторонам которой горело две свечи, доносился зловещий шепот.

А потом — танцы до утра под звуки юнкерского духового оркестра, до утра, до упаду.

Юнкера в парадных мундирах с ярко начищенными медными пуговицами и бляхами поясов, в сапогах первого срока.

Дамы — приглашенные епархиалки и институтки, приведенные сюда парами под наблюдением классных дам, в своих грубых форменных платьях, белых фартуках и козловых башмаках с ушками, с волосами в черных сетках, но такие юные, такие хорошенькие, смущенные, румяные, с вспотевшими подмышками...

...Они летали в упоительной мазурке по паркету, сотрясенному топотом юнкерских каблуков, а стекла высоких казенных окон дрожали от ударов турецкого барабана, да и не только стекла! Казалось, самые стены

Сабанских казарм, непомерно толстые, старинной кладки, мрачные, холодные, плохо освещенные коридоры и закоулки, пропитанные запахом светильного газа, солдатского сукна, щей, самоварной мази, которую юнкера начищали пуговицы своих мундиров, — все содрогалось от мазурки...

...Тех самых Сабанских казарм, выходящих на четыре стороны одного из кварталов Канатной улицы, выстроенных в тяжелом стиле русского ампира богачом Собаньским, крупнейшим хлеботорговцем, который держал здесь запасы зерна, приготовленного на вывоз за границу, и откуда из верхних окон было видно яркое море с белым Воронцовским маяком...

...Сами Собаньские занимали парадные апартаменты в этом, по существу, торговом заведении, складском здании, связанном с легендой о романе Собаньской с Адамом Мицкевичем и о романе Собаньского с женой известного итальянского негодянта мадам Ризнич, в которую в то же время был влюблен Пушкин, посвятивший ей божественные стихи «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой; в час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой...» — и т. д.

Но, видимо, в ее глазах нищему опальному поэту нечего было тягаться с миллионером Собаньским!

Судьба Мицкевича была более счастливой.

Впрочем, быть может, все это лишь пустая легенда, плод воображения экзальтированных одесситов.

«Начальник училища Ордынский раз в неделю по вечерам читал лекции по истории или русской литературе, весьма интересные, и я тоже бывал на них, интересуясь его рассказами».

Из этого я заключаю, что к тому времени в офицерской среде уже давно началось некое просветление после ужасной кавказской кампании и тягостной Крымской войны. В армии появился дух просвещения. Нашлись офицеры-просветители. К их числу принадлежал и начальник юнкерского училища Ордынский.

Дедушка не пишет, о чем «рассказывал» в своих лекциях этот полковник, так не похожий на бывшего начальника дедушки полковника Шафирова.

Можно предположить, что в области литературы Ордынский говорил, конечно, о Пушкине, о Лермонтове с его «Героем нашего времени» и, уж наверное, о Белинском, а может быть, и о Чернышевском с его «Очерками гоголевского периода...», и о Добролюбовском «Луче света в темном царстве».

Как ни странно, но в иных случаях в то время армия в лице передовых офицеров была более свободна в своих суждениях, более широка в литературных вкусах, более независима и даже «либеральна», чем гражданское чиновное общество.

Быть может, тут сказалась горечь крымской катастрофы, в которой был виноват Николай I со своей невежественно-грубой политикой и глупой самонадеянностью посредственного монарха, возомнившего себя гением, чуть ли не владыкой мира, что довело несчастную Россию до полного отупения и упадка, приведших к несчастной Крымской войне, к севастопольской катастрофе.

Офицерские круги яснее других понимали причины военных неудач и стремились поднять армию на высоту современных требований, сделать русское офицерство культурнее и умнее. Может быть, это были какие-то далекие, слабые отблески декабризма.

Появились образованные, честные офицеры вроде Ордынского, которые несли в военную среду свет образования; лекции, театр, музыку.

Дедушка, будучи по природе службистом и «аккуратистом», видимо, поддавался новому веянию и увлекся лекциями Ордынского, ради которых отказывался от вечеров в семейном кругу в уютной квартире на углу Базарной и Ришельевской, от полек и вальсов, которые бабушка разыгрывала на новом, еще резко звучащем пианино, в то время как маленькая Клёня, сидя у него на руках, вертелась и тарщила черные глазенки на пламя стеариновых свечей, отражавшихся в черном лаке инструмента.

В особенности дедушка увлекался историческими лекциями Ордынского.

Плотный, несколько тучный, в сюртуке с выпуклым значком Академии генерального штаба, Ордынский сидел за особым столиком перед слушателями — офицерами и юнкерами и, наклонив над тетрадкой круглую, коротко остриженную ежиком серебряную голову, блестя золотыми очками, читал несколько грубоватым, но

проникновенным голосом свои замечания по истории выхода Российского государства к Черному морю.

...Петр прорубил окно в Европу на Балтийском море, но ему не удалось сделать то же самое на Черном. Прутский поход кончился поражением...

Дедушка живо представлял себе военную обстановку того времени. Как писал в своих записках бригадир Моро-де-Бразе о походе Петра 1711 года, в котором Моро-де-Бразе участвовал на стороне русских, это было ужасное поражение, из которого, впрочем, Петр, выпутался, сохранив военную честь, отступив за Прут со знаменами, в полном порядке и с музыкой.

«При совершенном наступлении ночи, — пишет Моро-де-Бразе, — его царское величество велел остановиться батальону-каре. Мы выстроились как можно исправнее. Мы расположились на биваках. Ночлег был краток, и ночь чрезвычайно дождлива...»

Тут галантный француз-бригадир делает следующее отступление, обращаясь к своей читательнице:

«Не правда ли, что вы находите меня нечувствительным в отношении к вашему полу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что претерпели дамы, находившиеся в нашей армии?»

«Вообразите их себе, милостивая государыня, посреди ужасов четырехдневного сражения, подверженных тем же опасностям, как и мы; кареты их прострелены были пулями, разбиты пушечными ядрами; и эти милые дамы должны были попасться в плен, если не погибнуть в нечаянном нападении, коего мы только и опасались. Не знаю, более ли они страдали во время битвы, нежели радовались о своем избавлении; но знаю, что генерал-майорша Буш три недели после не могла еще оправиться от страха, ею претерпенного в те четыре дня, как мы имели дело с турками...» — и т. д.

И все это — турецкие атаки, пушечная пальба, горящие кареты полковых дам — было на берегу Прута, возле родных Скулян. А в войсках Петра, может быть, дрался с турками прадедушка дедушки, какой-нибудь лихой кавалерист, выходец из Запорожской Сечи.

Впервые за время своей военной службы дедушка со всей ясностью понял свою причастность к тому длительному периоду русской истории, в течение которого русское государство с невероятными трудами и усилиями распространялось на юг, к Черному морю, где до сих пор хозяйничали турки.

Турки запирали России путь в Средиземное море, а стало быть, и в мировой океан. Это была постоянная война за укрепление российских границ на юго-западе и юго-востоке.

Свобода плавания по Черному морю и через проливы была насущной необходимостью русского государства. Несколько веков длилась эта борьба, не одно поколение русских людей проливало кровь на полях сражений в дунайских княжествах, на Черноморском побережье Кавказа, в Малой Азии на границе Турции и России, на громадном пространстве, примыкавшем к Черному морю.

Через сто лет после прутского похода Петра в этих же местах воевал отец дедушки, а отвоевавшись, занялся сельским хозяйством в своем обширном имении в Скулянах, о чем уже было здесь говорено.

Дедушка представлял себе неизмеримо громадную Россию, ведущую борьбу за выход к Черному морю, видел Скуляны, старую петровскую церковь и кладбище с могилой своего отца, видел сухую полынь, по которой бежал горячий ветер, слышал звон кладбищенского колокола.

Дедушка внимал строгому голосу полковника Ордынского, видел блеск его золотых очков при свете газовых рожков и чувствовал себя уже не легкомысленным молодым офицером, а слугой попавшего в беду отечества.

Дедушка испытывал, как все русские люди того времени, чувство оскорбленного национального достоинства, унижения и, вместе с тем, верил в будущее России, ради которого надо не жалея сил трудиться, укрепляя армию.

«Это было на второй год со времени моего прибытия в училище. В 1867 году я был произведен в капитаны за отличие по службе».

Дедушка сравнился в чине со своим отцом, моим прадедом, капитаном Нейшлотского полка, покоившимся на кладбище в Скулянах.

Но действительно ли «покоившимся»?

Кто знает, в какие отдаленные области прошлого и будущего переносила его та необъяснимая сила, которую мы условно называем временем...

«В 1866 и 1867 годах у меня родились дочери Людмила и Евгения».

Евгении, пятой дочери дедушки, суждено со временем стать моей матерью.

Вспотевшая, осипшая от крика, только что отоспавшаяся бабушка лежала на двуспальной кровати в доме на углу Базарной и Ришельевской, и у нее в ногах лежала новорожденная девочка, твердо спеленатая безрукая куколка. Сестра милосердия из Стурдзовской общины, акушерка, довольно грубо, но уверенно подняла ее на руки и, поддерживая ладонью маленький затылок, вертикально поднесла ребенка дедушке.

Удлиненная головка, напоминающая крошечную дыньку, виднелась из батистового чепчика. Китайский разрез закрытых глазок, треугольный зевающий ротик...

Почему я это так ясно представляю?

Наверное, потому, что шестьдесят восемь лет спустя точно такую же девочку, но только уже мою дочку, тоже Евгению, как и ее бабушка, крошечную Женечку, принесли мне показать в родильном доме в Москве, в освещенной солнцем палате, и я вдруг увидел в ней бачеевские черты своей давно уже покойной матери, то есть той самой пятой дочери дедушки, которую показали ему тогда в Одессе на углу Базарной и Ришельевской.

Дедушка посмотрел на свою пятую дочь и осторожно прикоснулся губами к ее чепчику. А бабушка смотрела на него с вопросительно-виноватой улыбкой, как бы спрашивая, нравится ли ему ее произведение.

Дедушка, конечно, ждал мальчика, а рождались все девочки и девочки. Две первые, Наденька и Сашенька, остались лежать на кладбище в Керчи, две другие, Клёня и годовалая Люда, возились на ковре в детской, а пятая, Женечка, горестно морщилась и зевала треугольным ротиком в руках у акушерки.

А дедушке так хотелось мальчика!

Впрочем, если бы это был мальчик, то он, наверное, был бы убит во время будущей русско-японской войны где-нибудь под Мукденом или Чемульпо.

«Ну да авось следующий будет мальчик», — думал дедушка.

Его лицо с нежно-снисходительной улыбкой обратилось к бабушке.

— Какая прелесть! — сказал он, целуя потную бабушкину руку.

Увы, следующие тоже были девочки, множество девочек: Елизавета, Наташа, Нина, Маргарита — мои тети, ныне давно уже покойные.

Дальше в записках дедушки следуют малоинтересные сведения о частых переменах квартиры и о том, что в январе 1870 года он вместе с семьей нашел, наконец, хорошую квартиру в доме некоего инженера на Почтовой улице.

«Надо сказать, — пишет затем дедушка, — что в сентябре 1869 года старший адъютант окружного штаба майор князь Горчаков предложил мне быть в штабе его помощником вместо есаула Саф (неразборчиво), который переходил на должность старшего адъютанта в штаб Войска Донского. Я согласился, и в сентябре состоялся высочайший приказ о моем назначении».

Это был крупный шаг вперед в карьере дедушки, ставшего штабным офицером крупного военного округа.

«В этом же году я стал страдать глазами. Два доктора, Винскер и Вагнер, лечили меня без пользы. Что ни делали, ничего не помогало. Говорят: сильная трахома».

«В сентябре приехал из-за границы доктор Шмидт, известный...»

Здесь кончается 4-я тетрадь и начинается тетрадь № 5 с надписью «Мои воспоминания».

«...окулист. Я отправился к нему. Осмотрев вечером мои глаза, он сказал мне прийти еще завтра днем, так как ничего не видит в моих глазах того, что нашли лечившие меня ранее доктора. Я пришел на другой день опять. Шмидт осмотрел мои глаза внимательно — час целый! — и наконец сказал, что ничего нет, кроме воспаления, которое произошло от прижигания и впускания ляписа. Он сказал, что у меня просто близорукость, что глаза мои требуют очков и вместе с тем уменьшения воспаления, для чего ввел в глаза желтую мазь и дал очки. Все это сразу успокоило глаза. В течение месяца боль глаз прошла. Я при занятиях стал носить очки».

Теперь уже дедушка сделался типичным штабным: капитан, семейный, в черном сюртуке, в серебряных погонах, в очках.

На столе — баночка с желтой мазью, и розовые, воспаленные веки.

Так навсегда минула его молодость. Наступила зрелость. А вместе с ней как-то незаметно и пока еще очень неопределенно забрезжил вдалеке конец жизни.

«Занятия в штабе шли усиленно...»

Не пролив пока ни капли крови, не истратив ни одного рубля, Россия уничтожила постыдный Парижский договор в той его части, которая была наиболее оскорбительна для нашего национального самолюбия.

Правда, чтобы добиться этого результата — то есть иметь право снова держать на Черном море военный флот, — Россия согласилась на такое положение Европы, как франко-прусская война.

После уничтожения унижительных статей Парижского договора Россия стала вооружаться так, как до сих пор ей никогда еще не приходилось.

Работа в генеральном штабе кипела, а в Одесском военном округе, наиболее близком к театру будущих возможных военных действий и недавно созданном со специальной целью войны с Турцией за освобождение дунайских княжеств и Добруджи, трудились день и ночь.

Утомленный адской работой в штабе, летом 1870 года дедушка вместе со своей семьей перебрался поближе к морю, на Малофонтанскую дорогу, на дачу, нанятую на лето у итальянского негодника Томазини.

«Купанье, воздух хороша помогли мне», — пишет дедушка, не упоминая ни о бабушке, ни о своих маленьких дочерях — Клёне, Люде и Евгении.

А я вижу, как эти девочки вместе со своей матерью, в сопровождении денщика с ведром пресной воды, полотенцами и большим полотняным зонтиком, мал мала меньше, в детских шляпках, в накрахмаленных платьицах и длинных кружевных панталончиках, взявшись за руки, топают по глинистому спуску на морской берег, откуда доносится йодистый запах сухих водорослей.

Трехлетняя девочка с черными бровками и раскосыми глазками — моя будущая мама — с жадным любопытством смотрела на легкие, прозрачные, как бы совсем незаметные морщинки прибоя, с волшебным позваниванием катавшие туда и назад мелкую, обточенную морем гальку и гравий.

Девочка остолбенела от красоты этого полуденного моря, резко горевшего на солнце белым огнем, хотя и не знала, что это красота.

Ее близорукие глазки сделались мечтательными, щечки покраснели. И она как зачарованная смотрела на горизонт, где белел маленький косой парус...

...они поднимались вверх. «Ограды дач еще в живом узоре в тени акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море... День будет долог, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным махом птицы, да прогремит в немецкой фуре лед...»

По пыльной Малофонтанской дороге тащится конка — летний вагон, занавешенный с солнечной стороны полотняной шторой. По обе стороны — виллы одесских богачей: вилла Маврокордато — каменная серая стена, как бы составленная из глухих арок с вазами наверху, за которыми угадывается роскошный южный сад... Против нее вилла Маразли — кованая железная решетка, сквозь которую видна какая-то итальянская растительность — может быть, пинии! — и огромный яркий газон, окруженный каймой алых гераней, а посередине газона отличная, в натуральную величину мраморная копия знаменитой скульптуры «Лаокоон»:

отец и два сына, удушаемые змеями, ползущими по их атлетическим телам с напряженными мускулами.

...И еще вдали какие-то мраморные античные статуи, особенно белые на фоне пламенного моря с хвостом темного паровозного дыма...

На всю жизнь все это запечатлелось в сознании маленькой Евгении — Женечки, — моей мамы, передавшей мне по наследству эти свои первые впечатления моря, юга, красоты, чего-то итальянского и белеющего на горизонте паруса.

Дача Томазини, где дедушка снял домик на летнее время, была, конечно, гораздо скромнее. Но все же...

«На этой даче я познакомился с Петром Федосеевичем Алисовым, курским помещиком, женатым на молодой особе. Чудак, взбалмошный человек, богатый, труда не знает. Мы часто спорили с ним о русской истории. Взгляд его слишком вольный и безрассудный. Я не мог с ним согласиться. Это было причиной того, что мы с ним разошлись. Например, он на даче Томазини купил на самом берегу моря десятину земли, выстроил маленький домик, в котором были: гостиная, кабинет, спальня и столовая. При этом под одной крышей, позади столовой — крошечная кухня, где его жена сама готовила и стирала пеленки годовалого ребенка».

«Жена целый день в труде и занятиях, а сам Алисов ничего не делал, ездил в город, ухаживал за хорошенькими».

«Раз как-то после обеда я сидел под навесом, который был шагах в ста от дома Алисова; вижу, идет какой-то рабочий купаться в море возле дома. Цепная собака, сорвавшись с привязи, бросилась и начала рвать рабочего. На его крик прибежал дворник из бывших крепостных Алисова, стал гнать собаку, но собака, не слушаясь, продолжала бросаться на рабочего и рвать его. Тогда дворник, взяв хворостину, ударил собаку, которая с воем бросилась прочь».

«На этот шум вышел Алисов и, увидев, что дворник ударил собаку, подскочил к нему и нанес несколько ударов кулаком по лицу, крича и браня его...»

«Эта возмутительная картина до сих пор стоит в глазах моих!..»

«Вечером, встретившись с Алисовым, я стал говорить ему об этом, выражая свое негодование.

Алисов ответил:

— Ну и что ж такое? Дворник — мужик, его можно и даже нужно бить!»

«Какими же глазами я должен был после этого смотреть на такого господина? Только с презрением! Иначе нельзя!»

«Впоследствии в каком-то журнале или газете прочел я, что этот самый курский помещик Алисов, будучи за границей, вел пропаганду. Но из Франции и Германии он был изгнан. Въезд в Россию ему не разрешен. Вот доигрался, и поделом!»

Не совсем понятно, о какой «пропаганде» Алисова пишет дедушка. Вероятно, Алисов выступал за границу против русского правительства и против отмены крепостного права, но, конечно, не с точки зрения революционной, а с точки зрения матерого крепостника: Курская губерния славилась своими помещиками-реакционерами, как их тогда называли, «зубрами».

Вероятно, Алисов принадлежал к их числу.

Во всяком случае, эта история показывает, что Александр II, совершив свою реформу, попал между двух огней: возмущенного и ограбленного крестьянства и возмущенных помещиков-зубров.

Атмосфера в России накалялась.

«В сентябре 1870 года мы перебрались с дачи в дом на Базарной улице, угол Канатной. Комнаты невысокие, но просторные. В марте этого года у меня родилась дочь Елизавета...»

(Та самая тетя Лиля, которая после смерти нашей матери в 1903 году, по обещанию, данному ей, воспитала меня и моего младшего брата Евгения.)

«Брат мой Александр, — продолжает дедушка, — отказался быть крестным отцом Елизаветы...»

Тут же на полях тетради рукой деда написано: «Майор 1870». Очевидно, он вдруг вспомнил, что в этом году был произведен в майоры.

«Я пригласил офицера Булича быть крестным отцом новорожденной Елизаветы, а крестной матерью была старшая дочь Клёня».

«В конце сентября жена моя со всеми детьми поехала в Винницу к своей сестре Ивановой. Отлучка продолжалась месяц. Все время погода стояла хорошая, осень была замечательная, наступил 1871 год, казалось, все благополучно...»

«Но пришла Пасха, и все недовольство народа вылилось очень резко».

Оказывается, было недовольство народа, о чем дедушка упоминает впервые.

В Европе бушевал пожар франко-прусской войны, Парижской коммуны. Это не могло не отразиться на настроении в России, где было больше чем достаточно горючего материала.

...Одесса кипела...

...Примерно в это же время в Вятке умирал протоиерей местного кафедрального собора отец Василий...

«Конечно, — пишет дедушка, — этому много помогли разные неблагонадежные лица. На Пасху, на первый день, когда кончилась утренняя, пошли разговены; часов в десять утра против греческой церкви стали собираться толпы разговевшегося народа. За оградой церкви было несколько десятков греков. Вследствие подстрекательства определенных личностей народ с улицы стал задевать греков. Греки ответили бранью. С улицы в них полетело несколько камней. Полиция разогнала толпу. Тогда кто-то крикнул:

— Это жида дали знать полиции!»

«Народ рассвирепел. Бросились на еврейские дома. Полиция была разогнана основательно „разговевшейся“ пьяной толпой. Народ побежал во все стороны».

«Была потребована дежурная воинская часть».

«Но и полиции и вытребованных войск оказалось недостаточно для того, чтобы усмирить толпу. Толпа быстро организовалась».

А в это время по всему городу продолжался пасхальный трезвон, над крышами летали стаи голубей, с моря дул нежный ветерок.

«Часа в два стройная толпа, человек тысяча, двигалась по Канатной улице со стороны Сабанских казарм по направлению к нам. На углу Троицкой толпа остановилась и стала громить еврейский кабак. Производилось это чинно, в порядке. Когда двери кабака были высажены, толпа бросилась внутрь».

...Сначала маленькие девочки, майорские дочки, сжав губы, смотрели с балкона вдаль вдоль Канатной улицы, откуда двигалась громадная молчаливая толпа, подобная грозовой туче. Потом девочек увели...

«Из разбитых окон на улицу полетели бочонки, штофы с водкой. Все это билось, ломалось. Еврейские вещи (так называемые бебехи) рвались на части. В полчаса кабак был пуст. Толпа с песнями, свистом, криками двинулась далее, приближаясь к нашему дому против аптеки, и остановилась возле большого дома богатого еврея Красносельского».

«Дом был закрыт, молчалив, обречен, окна затворены. Толпа выстроилась молча. Какие-то мальчишки-греки бросили несколько камней в окна. Брызнули стекла. После этого сигнала вдруг вся толпа схватила камни и стала швырять в окна и в ворота. Ворота держались, но окна со своими внутренними деревянными ставнями распахнулись».

«Толпа ринулась в окна. Затем из первого и второго этажей полетели на улицу разные вещи, посуда, высунулся угол пианино, и оно со струнным звоном разбилось о камни тротуара. Все это ломалось, рвалось на части. Пух из разорванных подушек и перин, как снег, носился в воздухе».

«Я с семьей и несколько интеллигентных лиц стояли на улице возле своего дома, молча, оцепенело смотря на все это безобразие».

«Полицеймейстер граф фон Фитингоф, красивый молодой человек, в сопровождении четырех казаков подъехал и стал уговаривать толпу. Но видя, что это бесполезно, куда-то уехал. Это еще больше ободрило толпу. Разгром пошел гораздо быстрее».

«Через полчаса прибежали человек сорок стрелков 13-го стрелкового батальона с ружьями наперевес и тотчас же, орудуя прикладами, бросились на толпу».

«От каждого удара кто-нибудь из погромщиков летел в сторону с окровавленным лицом».

«Толпа кинулась врассыпную. Стрелки ловко полезли в разбитые окна, и оттуда назад на улицу посыпались все погромщики, успевшие уже забраться в дом и хозяйничающие там».

«В 10 минут никого не стало».

«Стрелки действовали молодцами, энергично. Часа в три в город были выведены из казарм все войска гарнизона».

«Коцебу сам распоряжался, уговаривая народ. Ничего не помогало. Погромы вспыхивали то там, то тут по всему городу. Вслед Коцебу из толпы неслись оскорбительные выкрики, насмешки. Вечером беспорядки усилились, а на второй день еще более разгорелись благодаря тому, что, прослышав о погромах, по железной дороге стали прибывать разные сомнительные элементы из соседних городов, надеясь поживиться».

«Были и убитые».

«Одного убитого толпа принесла в Воронцовский дворец, положив посреди комнаты. Дежурный адъютант, испугавшись, велел дворцовым служителям отнести труп в полицию...»

«Юнкерское училище — человек двести — поставили поперек дороги из Карантина, откуда вверх по Карантинному спуску из порта бежали в город матросы русских и иностранных судов».

«Столкновение было сильное».

«Более 10 ружей было сломано в рукопашной драке. Толпы разного сброда носились по улицам города, все разрушая и разбивая на своем пути. Более 50 человек было убито. В 12 часов ночи всеобщий разгром стал утихать».

«Войска ночевали на улицах. Горели костры. Город напоминал осажденный лагерь».

Маленькая девочка Женя то и дело просыпалась в своей кроватке в детской, освещенной желатиновым синим ночником. Ее сестры тоже не спали. Им мерещились всякие ужасы. Дневные впечатления тревожили детское воображение.

Женя, сжав тонкие губки, наморщив смуглый лобик, открыв свои узкие глазки, смотрела на золотящуюся в потемках икону, на тень пальмовой ветки, которая тянулась наискось через весь потолок. Девочка крестилась под одеяльцем, моля бога, чтобы он спас их всех от гибели.

Иногда она забывалась тревожным сном, и тогда во сне мимо нее летали лазурные тени черноморских чаек и блестел на солнце прибрежный песок.

«На третий день Пасхи Коцебу вследствие особо полученной телеграммы из Петербурга распорядился иначе».

«Войска были поставлены на площадях. На каждую площадь на армейских фурах были привезены кучи розог. Бунтовщиков стали приводить на середину выстроенного в каре батальона, и полицейские наносили от 25 до 50 ударов, в зависимости от степени участия в погроме».

«Каждый хорошенько выпоротый поспешно застегивал штаны и убегал домой. Это средство отлично подействовало и на других погромщиков. Многие из них были арестованы, посажены на баржи и отбуксированы в открытое море».

«К вечеру все умолкло».

Из скупых заметок дедушки можно заключить, что трехдневные события значительно переросли понятие городских беспорядков, связанных с погромами. Это несомненно было нечто большее.

Дедушка, не склонный к историческим обобщениям, воспринимал происшествие как обыкновенный средний штабной офицер и городской обыватель. Впрочем, к его чести надо заметить, что он не сочувствовал погромщикам, свидетельством чего также является и следующая его заметка, довольно, впрочем, забавная.

«Жена моя подшутила в эти дни над нашим денщиком, который, сбежав со двора, тоже участвовал в погромах. Придя утром третьего дня на кухню, Маша весьма серьезно заявила, что по приказу Коцебу всем тем, „которые били жидов“, на городских площадях выдают подарки».

«Наш денщик Нестор, услышав это, тотчас побежал на ближайшую от нас площадь — Куликово поле — и заявил, что он „бил жидов“. Его тотчас схватили и тут же не сходя с места всыпали 25 горячих. Получив эту награду, Нестор прибежал домой заплаканный и больше уже во все время событий не отлучался со двора».

Бабушка, так мило подшутившая над денщиком Нестором, по-видимому, не была лишена юмора.

Сколько я помню ее, она была веселая, пухлая, подвижная. Во всяком случае, урок, который она преподавала денщику Нестору в дни своей молодости, характеризует ее не только как женщину остроумную, но также и справедливую.

«В октябре жена с детьми снова поехала в Винницу навестить свою старуху мать и Ивановых. Я же, будучи вновь при начальнике штаба генерале Горемыкине (Иван Георгиевич, губернатор Восточной Сибири), остался дома. Таким образом, шли годы жизни в Одессе без изменения... Дочери росли.»

Записки дедушки, которые он делал на старости лет, незадолго до смерти, будучи уже генерал-майором в отставке, проживающим на покое в Екатеринославе, приходят к концу. Почерк дедушки меняется: то мелкий, совсем неразборчивый, то крупный, с жирными росчерками. Иногда дедушка пишет красными чернилами, и это имеет какой-то зловещий оттенок. Память ему все чаще и чаще изменяет. Он повторяется. Путает годы, месяцы, смерть приближается к нему, а он не записал и половины своей жизни.

Ему уже за шестьдесят, у него паралич. Кончается XIX век, а он только дотянул свои воспоминания до конца семидесятых годов.

Маленькой Женечке, как мы уже знаем, в 1870 году минуло три года. У нее уже был жених, о существовании которого ни она, ни кто другой, конечно, не имели понятия: он был на десять лет старше ее и родился где-то недалеко от Перми, на Урале, в городе Глазове, в семье священника Василия Алексеевича Катаева, которая вскоре переехала в Вятку, где отец Василий стал соборным протоиереем и через некоторое время умер.

...Я скончался 6 марта 1871 года в 10 часов вечера в городе Вятке после тяжелой болезни, окруженный своей семьей. Перед тем как умереть, я испытал невыносимые телесные муки.

Сперва я лежал на нашей супружеской двуспальной кровати, покрытой лоскутным одеялом, под образами, потом обмытое теплой водой мое похолодевшее тело переложили в приличный моему сану дубовый гроб, поставленный в гостиной на два ломберных стола.

Мое человеческое сознание давно уже погасло, но взамен его началось новое, вечное, необъяснимое и никогда уже не угасающее сознание, как бы неподвижное, но вместе с тем охватившее весь существующий мир, все его бесконечное движение.

В нем, в этом странном нечеловеческом сознании, заключалось нескончаемое прошлое, настоящее и нескончаемое будущее. В этом мире я продолжал свое ни с чем не сравнимое, вечное существование, в котором так ничтожны должны были казаться отметки времени, например, формулярные списки духовной консистории, сохранившиеся в вятском архиве.

Из них следовало, что в 1857 году я был смотрителем Глазовского уездного духовного училища; тогда мне было тридцать семь лет и жизнь моя земная казалась мне бесконечной. Я был сын священника из Вятской губернии и как таковой безвозмездно обучался в Вятской духовной семинарии, а потом в Московской духовной академии, которую и кончил по второму разряду, а в 1844 году получил степень кандидата.

В Глазове состоял я инспектором духовного училища и учителем высшего отделения уездного училища по греческому языку.

В 1847 году я был переведен в Вятку, стал священником при духовном училище, затем вернулся в Глазов и был священником местного собора.

Я хорошо продвигался по служебной лестнице, но какое это теперь имело для меня значение?

Я получал награды.

За препровождение глазовских дружин подвижного ополчения в духе христианского и патриотического усердия, за отличную тщательность в назидании новокрещенных вотяков в вере, за особую старательность по обучению прихожан молитвам и вообще в назидании и утверждении их в истинах и правилах христианства.

В награду за все это получил я в 1850 году скуфью, в 1848 году набедренник, в 1856 году камилавку.

Глазовские ополченцы, воспитанные мною в духе христианства и патриотизма, принимали участие в крымской кампании и проявляли чудеса храбрости на севастопольских бастионах, а также в боях с восставшими горскими племенами на Кавказе.

Я получил за это наперсный крест на анненской ленте, что при жизни вселяло в мою душу гордость и я чувствовал себя как бы причастным к славе русского оружия.

Теперь же все это стало для меня не только безразлично, но вовсе перестало существовать, уничтожившись вместе с моим сознанием.

По углам моего дубового гроба с серебряными кистями душно и неподвижно горели толстые восковые свечи, вставленные в подсвечники, привезенные из кафедрального собора, где я был при жизни протоиереем. Обычно эти пугающе-громоздкие подсвечники были в холщовых чехлах, перехваченных посередине вышитыми лентами, но теперь чехлы были сняты и в серебре мутно и огненно отражалась картина первой ночной панихиды в нашем тесном зальце с зеркалами, грозно завешенными простынями, с лампадками, иконами, фикусами и филодендронами в зеленых кадках со своими висячими воздушными корнями и громадными дырвыми листьями, которые в представлении моих потомков могли бы показаться похожими на рентгеновские снимки грудной клетки.

Я лежал по диагонали комнаты в лиловой бархатной твердой камилавке, в траурном облачении, в парчовом набедреннике, с большой бородой, расчесанной моей супругой Павлой Павловной, попадьей, и смазанной душистым елеем.

У меня был хрящеватый нос и склеротические глаза, которые некоторые вятчи, мои прихожане, считали при моей жизни похожими на глаза сатирика Салтыкова-Щедрина, сосланного к нам в Вятку и некоторое время жившего неподалеку от нашего дома.

Теперь же, в гробу, в облачении, с высоко сложенными на груди костлявыми руками, в которые был вложен наперсный крест, с закрытыми глазами, я скорее был похож на некое языческое божество, окруженное облаками росного ладана.

...Я умер от гнилой горячки, провалившись под лед на реке Вятке, которую я переходил зимой с одного берега на другой, в заречную слободку, дабы поспеть к одному из моих умирающих прихожан дать ему последние наставления, исповедать, отпустить грехи и приобщить святым тайнам.

Я нес на голове дарохранительницу, покрытую шелковыми воздушными.

Лед на реке был не всюду достаточно крепок. Под моими ногами оказалась полынья. Я провалился сначала до колена, потом по пояс. Я боялся упасть, дабы не уронить святыне дары. Одной рукой я поддерживал на голове дарохранительницу, другой опирался о ребро поднявшейся дыбом льдины. Сопровождавший меня псаломщик помог мне выкарабкаться. Но я вымок в ледяной воде по грудь.

Вечерело. Красный закат светился над высоким берегом Вятки, над куполами и колокольнями церквей, над деревянными домиками, как багряное причастное вино кагор.

Моя шуба до половины обледенела, стала тяжелой, как из чугуна. Все же мне удалось перейти через реку и вовремя поспать к умирающему.

Я возвращался домой почти без сознания, в страшном жару. Кости моих ног болели. Моя попадьа напоила меня малиной. Я горел. Сознание то и дело покидало меня. Я стал заговариваться. Позвали епархиального лекаря, который отворил мне кровь, ударившую из-под его ланцета яркой струей в оловянный таз, подставленный одним из сыновей моих.

Но это не помогло.

Голень воспалилась, посинела, вулканически почернела. Колено стало нарывать. Нечто ужасное. Тогда лекарь решился прибегнуть к крайнему средству: каленому железу.

В кухне на плите раскалили железный шкворень. Фельдшер держал его кузнечными клещами, обернутыми тряпкой, от тряпки шел желтый дым. Мои жена и дети с ужасом смотрели, как железный шкворень, раскаляясь, меняет тона: синий перешел в угрюмо-малиновый, потом в ярко-вишневый, потом в пылающе-оранжевый и наконец, сделавшись ослепительно-белым, как молния, остановился на этом: железа было доведено до белого каления.

Я лежал, откинув бороду, и лекарь выпростал из-под простынь мое раздувшееся колено и безжалостно приложил к нему конец раскаленного добела шкворня. Я на миг потерял сознание. Дым и чад паленого человеческого мяса наполнили спертый воздух.

Попадья, трое моих сыновей и грубиян фельдшер держали меня за руки и за ноги, изо всех сил прижимая мое извивающееся тело к постели.

Лекарь вторично приложил раскаленное железо к моему больному колenu.

Страшный крик потряс наш бревенчатый дом от подполья до конька крыши. Это был мой крик. Кровавые слезы текли из моих глаз.

(Библейски желтые члены старческого человеческого тела среди хаоса простынь, одеял и занавесок, посредине небольшой провинциальной комнаты, оклеенной коричневыми шпалерами, как бы пылали адским заревом.)

Комната была яко печь раскаленная, яко геенна огненная.

Моисеева борода вилась вокруг моего разинутого рта с несколькими недостающими зубами. Ничто уже не могло спасти меня от мук, и я умер, и смерть моя в тот же миг стала подобием какой-то еще неведомой мне жизни — огненной и бесконечной.

Два дня лежал я в гробу дома. На третий меня со всяческими почестями перенесли в кафедральный собор, как бы еще хранивший в своих расписанных сводах мой навеки запечатленный голос.

Посреди похоронного великолепия я лежал высоко воздвигнутый над толпой молящихся обо мне прихожан, и соборный причет отпевал меня, и священнослужители кадили вокруг меня, наполняя кафедральный собор облаками ладана.

Затем мой гроб подняли за металлические ручки, поставили на носилки, покрытые черным сукном, вынесли из собора на плечах родных и близких и поставили возле вырытой могилы, резко черневшей среди мартовского снега.

Надо мною произносили надгробные речи.

— На погребение умершего брата нашего, протоиерея Василия, священнослужителя сего собора, стеклись мы, — сказал, выступив вперед, протоиерей Стефан Кашменский, прижимая к груди бобровую шапку и наклоняясь вперед так, что длинные полы его черной драповой шубы на хорьках касались края могилы.

Он был известный духовный оратор Вятки, и его слово над гробом было знаком великой чести для усопшего.

От его голоса стая галок снялась с купола собора и облетела крест на фоне фиолетовых мартовских туч, откуда скупно сыпался мелкий снежок, падая на мое лицо и не тая. Звонил похоронный колокол.

— Так смерть похищает то того, то другого из наших ближних — из сотрудников, родных и знакомых.

Стефан Кашменский строго из-под золотых своих очков оглядел всех предстоящих, влажным взглядом задержавшись на моей семье, на трех моих сыновьях — Николае, Петре, Михаиле — и на моей попадье, такой маленькой, такой беспомощной Павле Павловне, урожденной Бубликовой, с таким белым окаменевшим личиком, что душе моей, еще не окончательно отлетевшей и присутствующей рядом, стало больно и жалко, хотя в последние годы своей земной жизни я как-то утратил чувство жалости и, несмотря на свой сан, перестал жалеть больных, нищих, убогих, сирых...

«Так она заметно и незаметно, но всегда безостановочно приближается к каждому из нас. О смерть, неожиданная, но неизбежная смерть! — вдруг вскричал высоким голосом Стефан Кашменский и зарыдал. — Иногда мы не хотели бы видеть тебя, не хотели бы и думать о тебе, а ты сама являешься нам со своими жертвами, сама напоминаешь нам о себе. Волею и неволею мы останавливаем свой взор на умерших, и вид смерти заставляет нас так или иначе подумать о ней».

Лежа в открытом гробу на краю могилы, лицом, обращенным к фиолетовым тучам, неподвижный и, вероятно, страшный для окружающих, я был именно тем видом смерти, которая как бы вселилась в мое тело, хотя и не уничтожила моей вселенской жизни, о чем среди всех стоящих вокруг меня знал один только я.

«От земной жизни ты перешел в загробную, — гремел голос оратора, ноздри его округлились, борода вздулась. — Да откроется же там иная для тебя, блаженнейшая деятельность, которая никогда не ослабляет, никогда не изнуряет сил наших, но всегда воодушевляет действующего, всегда радуется ему».

Долго еще говорил Стефан Кашменский. Это была прекрасная речь — надгробное слово, напечатанное впоследствии, как было объявлено, «по желанию читателей покойного» в «отделе духовно-литературном» на нескольких страничках «Вятских епархиальных ведомостей»...

Это были слова прекрасные для живых, но для меня — пустой звук. Они пролетели мимо, не касаясь моего слуха, потому что я уже им не обладал. Ни слухом не обладал, ни зрением, ни осязанием, ничем человеческим я больше не обладал. Но зато моя якобы мертвая плоть не только продолжала существовать, но также продолжала обладать даром отражения окружающего меня мира, притом тысячекратно увеличивала эту способность, по мере того как растворялась во вселенной, раскатилась по всем направлениям пространства и времени.

...я лежал в гробу на высоком берегу реки Вятки, откуда открывался широкий вид на низкое заречье, на лесистые пространства северной России, покрытые волнами великопостного заунывного звона, плывущего из всех церквей прекраснейшего в мире города Вятки...

Покойник был отцом моего отца, и я, пишуший эти строки, последний из оставшихся в живых его внуков, измученный столь естественным в каждом человеке желанием проникнуть в прошлое своего рода, недавно перебирал странички ксерокопии «Слова при погребении», присланные мне доброжелателем из города Кирова (бывшей Вятки).

Сквозь четко, по-старинному набранные странички «Слова» до меня как бы доносится голос кладбищенского оратора:

«...будем молиться об усопшем, потому что смерть есть переход к такому состоянию, в котором человек особенно нуждается в молитве о себе — умерший в молитве живых...».

Не думаю, чтобы мой мертвый дед нуждался в молитве живых, так как он сделался уже существом как бы высшим, вездесущим и всеведущим, как бог. Ему были безразличны слова оратора.

«Усопший брат наш был внимателен, благорассудителен, миролюбив, благоговее; очищал себя долговременным предсмертным страданием; приготавливал себя к смерти таинством церкви, и знаменательно, что он недели за полторы до болезни своей здесь, в храме святителя и чудотворца Николая, свое слово с церковной кафедры заключил так: „...болезни ли постигли тебя, путник земной... всяку радость имеет, по наставлению Апостола, предавая Христу богу сам себя, „и других, и весь живот свой“. Да сподобится же небесной радости дух твой, почивший брат наш. Не о том да радуется он, что прекратились болезни и страдания его тела, а о том, что страдания эти переносились с полной преданностью воле божией и очищали душу, как металл очищается в горниле...“»

(... Может быть, как шкворень — добела раскалился и потом дочерна прожег коленную чашечку, оттуда потек зеленый гной на смятые простыни...)

«Да удостоится очищавшаяся душа твоя водворения, там *идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание*».

Осиротевшее семейство утирало слезы, и средний сын покойного, мальчик Петя, в шинели духовного училища, стоял без фуражки, с покрасневшими добрыми глазами, такими же самыми, какие были у него в тот страшный день, когда много лет спустя рядом со мной, его старшим сыном, он стоял перед гробом своей жены, той самой девочки Жени, которая родилась в семье моего дедушки Бачея.

А тогда в Вятке черная толпа прихожан и нищих, окружившая могилу другого моего деда, отца Василия Катаева, крестилась, кланялась... Звонили похоронные колокола, синели великопостные тучи, над колокольнями носились стаи галок, на занесенной снегом реке с бревенчатой конторкой пристани и вмерзшим в лед паромом виднелись черные квадратики прорубей, откуда шли бабы в оранжевых тулупах, в темных платках, с ведрами на расписанных коромыслах...

Но вернемся к запискам другого моего дедушки, Ивана Елисеевича Бачея. В этих записках он не успел рассказать о свадьбе своей дочери Евгении, вышедшей замуж девятнадцати лет за учителя Петра Васильевича Катаева, приехавшего из Вятки в Одессу со своей матерью, вдовой протоиерея, поступать в императорский Новороссийский университет, недавно открывшийся в этом городе, где жизнь, по слухам, была дешевле, чем в любом другом университетском городе Российской империи.

Петр Катаев с серебряной медалью кончил университет по историческому отделению историко-филологического факультета, стал преподавателем и женился на Евгении Бачей, моей будущей матери.

«В ноябре, — пишет дедушка Бачей, — была объявлена мобилизация. Распоряжение мы получили 1 ноября после обеда. Я пошел обедать в 2 часа, а пообедав и вернувшись в штаб, застал такую сцену: все тревожилось, суетилось... посылалось множество телеграмм во все места».

Дедушка, по-видимому, был так сильно взволнован нахлынувшими воспоминаниями о приближении русско-турецкой войны, что почерк его с трудом можно было разобрать даже с помощью увеличительного стекла, тем более что он почему-то стал писать красными канцелярскими чернилами, и это придало его воспоминаниям зловещий оттенок.

«Мне как секретарю работы сначала было мало, но со 2 ноября стало приходиться такое множество депеш, что пришлось увеличить аванс дежурного писаря».

Что обозначает это загадочное выражение, не знаю.

«Назначено было дежурство офицеров. Мы, адъютанты, помощники и я — секретарь, — сходяв обедать в 3 часа, приходили на дежурство и были в штабе всю ночь. Важные депеши несли начальнику штаба тотчас, а неэкстренные оставляли до утра».

«Так шло время без остановки...»

На этом месте красные чернила вдруг сменяются траурными черными.

«...до апреля 1877 года, когда приехал в Одессу государь Александр II с наследником Александром Александровичем».

Эти воспоминания дедушка вписывал в тощую трехкопеечную школьную тетрадку накануне своей смерти, кажется в 1901 году.

Он с трудом восстанавливал в слабеющей памяти события двадцатипятилетней давности. Его рука стремительно и криво выводила крошечные буквы, как бы желая убежать от смерти, которая уже стояла за его плечами, согнутыми над письменным столом с двумя парами зажженных свечей под зеленым козырьком в форме утюга. Именно при таком освещении отставные генералы имели обыкновение писать свои мемуары.

Быть может, и сам император Александр II при подобных свечах под зеленым абажуром подписал манифест, несправедливо давший ему титул «царя-освободителя».

«Назначен был смотр всем одесским войскам на Тюремной площади тотчас же по выходе императора из вагона железнодорожного поезда. Великий князь Александр Александрович — будущий император

Александр III — был в донской казачьей форме».

«Мы, штабные, были возле вокзала; я видел наследника в пятнадцати шагах от себя, не далее. Он сидел верхом».

Впоследствии скульптор Паоло Трубецкой примерно в таком же виде изобразил его, тогда уже покойного императора Александра III, в грузном памятнике, установленном в Петербурге против Николаевского вокзала.

Это был памятник-кариатура, хорошо замаскированная видимой монументальностью: толстая лошадь, толстый царь в казачьей форме и круглой каракулевой шапочке.

В дореволюционное время об этом памятнике ходила эпиграмма: «Стоит комод, на комод бегемот, на бегемоте — обормот». Февральская революция началась возле того памятника: черные толпы народа, красные знамена, лиловые тучи, ветер с Невы, остатки снега, надежды, надежды.

Ныне этого памятника на вокзальной площади нет, его куда-то убрали.

«Государь при сходе с подъезда железнодорожной станции распекал градоначальника графа Левашова очень сильно и громко за беспорядки в Одессе при окружном суде во время осуждения революционерки Засулич, которую суд оправдал, несмотря на то, что все улики ее вины были налицо...»

«Не дай бог дожить еще до такого времени, как было тогда в Одессе...»

Это последняя строка, написанная дедушкой. Записки прерываются на середине странички; дальше идут уже чистые, пожелтевшие от времени листы...

Возможно, что именно в этот миг и настигла дедушку смерть от удара.

Голова дедушки с бакенбардами, делавшими его, как я говорил, похожим на царя-освободителя, упала на зеленое сукно письменного стола, и вбежавшая на шум бабушка увидела уже сползшего на пол дедушку в домашней генеральской тужурке с красными лацканами, с остекленевшими глазами, устремленными в потолок, его худые пальцы продолжали сжимать деревянную обкусанную ручку со стальным пером, откуда на потертый кавказский ковер капали канцелярские чернила.

...а на столе, где продолжали гореть под зеленым абажуром оплывающие свечи, виднелся сафьяновый портфель, завещанный дедушке его отцом, моим прадедушкой Елисеем Алексеевичем Бачеем. В портфеле хранились его записки, через много лет доставшиеся в наследство мне, пишущему эти строки.

Итак, последнее, написанное дедушкой, было то, что император распекал Левашова за беспорядки в Одессе и за то, что суд присяжных оправдал революционерку Засулич.

Тут дедушка что-то напутал, так как известно, что Веру Засулич судил и оправдал суд присяжных в Петербурге. Однако тот факт, что дедушка сопоставил имя известной революционерки Веры Засулич со взбучкой, которую задал Александр II графу Левашову за беспорядки в Одессе, свидетельствует о той грозной, предреволюционной обстановке, которая уже тогда начинала созревать в России.

Дело Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, было первым проявлением новых сдвигов в психологии революционно настроенных людей того времени. Наступало время революционных дел, террористических актов...

Хотя дедушка в своих записках, очевидно, что-то и напутал, но в них отразилось настроение русского общества того времени.

Накануне русско-турецкой войны и приезда Александра II в Одессу там был раскрыт «Южнороссийский союз рабочих». Дело слушалось в одесском суде в год приезда императора. Очень возможно, что в этом деле была замешана также и Вера Засулич — еще до того, как она стреляла в Трепова, — она долгое время жила на юге и была связана с подпольными революционными организациями.

Через год после приезда Александра II в Одессу, в июле, были преданы военному суду пять юношей и три молодые девушки, обвиненные в заговоре и вооруженном сопротивлении властям. Главный из обвиняемых, Ковальский, был приговорен к смертной казни и расстрелян. Спустя два дня начальник тайной полиции (III Отделения собственной его императорского величества канцелярии) генерал Мезенцов, получивший предупреждение, что с ним рассчитаются за Ковальского, был заколот кинжалом на Михайловской площади в

Петербурге молодым человеком, который немедленно скрылся и, несмотря на все старания, не был разыскан.

Эти события совпали с неудачным для русской дипломатии концом Берлинского конгресса: в широких слоях русского общества открыто негодовали на бездарно «проигранную» в Берлине восточную войну, стоившую таких огромных жертв, как Шипка, Плевна и т. д.

Вскоре после убийства Мезенцова — на этот раз в Киеве — был также заколот кинжалом жандармский офицер Гейкинг.

Так называемая мирная пропаганда отошла в прошлое. Между революционерами и правительством началась смертельная схватка. Во всех губерниях участились аресты и высылки без суда. Скоро некто Фомин был арестован в Харькове за попытку освободить политических заключенных. Он был предан военному суду губернатором князем Кропоткиным, двоюродным братом одного из вождей революционного движения. Тогда во всех значительных городах России Исполнительный комитет объявил о смертном приговоре, вынесенном им харьковскому губернатору Кропоткину, и еще раньше, чем Фомин предстал перед судом, князь Кропоткин при выходе с бала был смертельно ранен выстрелом из револьвера боевиком Гольденбергом.

Через две недели в Одессе пришла очередь жандармского полковника Кнопа. Рядом с его трупом нашли приговор Исполнительного комитета.

23 февраля в Москве был убит агент тайной полиции Рейнштейн. В тот же день в Петербурге произошло покушение на преемника Мезенцова генерала Дрентельна. Вскоре в Киеве стреляли в губернатора, а в Архангельске был убит кинжалом полицеймейстер.

Наконец, 2 апреля некто Соловьев пять раз подряд стрелял из револьвера в императора, который бежал от него как заяц, и пять раз промахнулся: Александр II остался невредим.

Однако грозный и неуловимый Исполнительный комитет (не признавший себя ответственным за покушение Соловьева) прокламацией от 26 августа 1879 года приговорил к смерти императора Александра II. Вскоре под Москвой был взорван возвращавшийся из Крыма императорский поезд. Взрыв разрушил полотно железной дороги, но император проехал предыдущим поездом.

...Пока Александру II везло...

Через год прокламация Исполнительного комитета уведомила императора об условиях, на которых он может быть помилован: объявление свободы совести и печати, учреждение народного представительства.

Император не дал на это никакого ответа.

Тогда страшный взрыв потряс здание Зимнего дворца. Было взорвано караульное помещение, находившееся непосредственно под императорской столовой, в шесть часов вечера, именно в тот момент, когда императорская фамилия должна была войти в столовую. Но императорская фамилия замешкалась, и Александру II опять повезло. Никто не пострадал.

Главным, если не единственным организатором покушения был Халтурин, столяр, которому Исполнительный комитет выдал динамит. Халтурину удалось наняться на работы, производившиеся в погребах Зимнего дворца под местом расположения императорской столовой. Он жил там в течение нескольких месяцев в постоянном напряжении не только из-за обысков полиции, знавшей о том, что дворцу угрожает опасность, но также из-за неосторожности своих товарищей по работе; спал Халтурин на динамите, стоически перенося вызываемые им ужасные головные боли.

«...и Халтурину спать не дает динамит...»

Ему удалось скрыться из дворца до взрыва, и когда впоследствии он был арестован в Одессе за участие в другом покушении, власти судили его и приговорили к смертной казни, приведенной в исполнение в двадцать четыре часа, даже не подозревая, что он был организатором взрыва в Зимнем дворце.

Халтурин вместе с Желваковым убил в марте 1882 года прогуливавшегося в Одессе на Николаевском бульваре военного прокурора Стрельникова, прославившегося своей беспощадной жестокостью.

Дедушка, который до сих пор, судя по его запискам, очень мало интересовался политическими событиями и не выходил из круга своей служебной деятельности и семейных дел, вдруг в один прекрасный день ощутил,

что он живет в бурную предреволюционную эпоху. Зарево надвигающейся революции уже стояло над Россией.

Для дедушки это было неожиданным открытием, и он ужаснулся. Теперь, перед смертью, как бы заново переживая и переосмысливая события того времени, он не мог вытеснить из своего воображения картину убийства Александра II 1 марта 1881 года. Того самого Александра II, который еще так недавно при выходе из Одесского вокзала на Тюремную площадь распекал графа Левашова.

...Выходя из дверей вокзала, царь — высокий, с узким немецким лицом, с бакенбардами по сторонам голого подбородка, в летней шинели тонкого жемчужно-серого сукна, из-под которой по ступеням волочилась зеркально блестящая сабля, в фуражке с тульей, приподнятой сзади на прусский манер, — нервно теребил замшевую перчатку, сдернутую с побелевшей руки. Его шпоры звенели, царапая гранитные ступени.

Граф Левашов стоял навтыжку, с рукой под козырек на тротуаре, глядя снизу вверх на разъяренного монарха, изо рта которого — как бы из самых недр августейших бакенбард — вылетала самая грубая, непристойная ругань, особенно зловещая среди торжественной церемониальной тишины выстроенных на площади войск...

И вот теперь этот самый Александр II уже в своей столице Санкт-Петербурге едет из дворца на развод караула. На обратном пути около трех часов пополудни на Екатерининском канале, в темной воде которого так зловеще отражаются желтые пятиэтажные дома, под его карету брошена бомба. Взрыв. Убито и ранено несколько казаков императорского конвоя и кое-кто из прохожих. Но судьба все еще хранит императора. Он цел и невредим. Он стоит среди обломков кареты, среди трупов казаков и лошадей, истекающих кровью, конвульсивно бьющихся на мостовой.

Чудесно уцелевший император делает, шатаясь, несколько шагов в облаке еще не рассеявшегося динамитного вонючего дыма, но в этот самый момент под его ноги брошена вторая бомба. Он падает.

Официальная версия гласила, что, перенесенный во дворец, он в тот же день умер, не произнеся ни слова.

Но все в России — и дедушка в том числе — знали, что царь был разорван в клочья и его августейшее тело собирали по частям с окровавленной гранитной Мостовой того чугунно-синего цвета, которым так мрачно отливают в начале марта петербургские мостовые.

Красно-черные клиновидные молнии взрыва пронзили дедушкин мозг и погасили его сознание. А ведь ему еще предстояло описать в своей тетрадке по крайней мере двадцать лет дальнейшей жизни при новом императоре Александре III, том самом, которого так близко видел дедушка некогда на Тюремной площади, — громадного дородного офицера в казачьей форме, тогда еще великого князя, верхом на откормленной лошади из дворцовой конюшни. Дедушка пережил и этого царя и умер уже перед самой русско-японской войной, при последнем русском императоре Николае II. Но об этой эпохе дедушка не оставил никаких записок. Известно только, что после службы в штабе Одесского военного округа он, неуклонно продвигаясь, был воинским начальником в Феодосии, командовал полком в Ново-Московске, где летом в полковой лагерной церкви состоялось венчание его дочери Евгении и преподавателя одесских учебных заведений Петра Васильевича Катаева — моих родителей.

...И так далее, и так далее...

...до тех пор, пока, выйдя в отставку в чине генерал-майора, не поселился в Екатеринославе, где и доживал свои дни в кругу семьи, сочиняя по примеру прочих отставных генералов того времени свои мемуары, скромно названные им записками.

После его смерти записки эти надолго были похоронены среди семейных бумаг, которыми бабушка, кажется, мало интересовалась. Они разделили участь записок дедушкиного отца Елисея Алексеевича Бачея. Наконец они попали в мои руки. Под увеличительным стеклом побежали магически выросшие рукописные строки...

Это не подлинная рукопись прадеда — она утрачена, — а копия с нее, аккуратно сделанная женской рукой. Она озаглавлена так:

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея (1783-1848)».

«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алексеевича Бачея. Среди этих бумаг оказалась небольшая тетрадь

старинной желтой бумаги, на первой странице которой рукой нашего отца написано: „Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в которых он сам участвовал“. С большим трудом читается написанное старинным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее становится рассказ, обрывающийся, к сожалению, на 1813 году. Сведения о дальнейших военных подвигах деда в кампании 1813 и 1814 годов мы знаем из документов и рассказов покойного отца. Марина Бачей. 18 апреля 1911 г.».

Кто такая Марина Бачей, я не знаю, так как не помню, чтобы кто-нибудь из моих многочисленных теток носил имя Марина. Была среди них Маргарита, самая младшая. Может быть, ее настоящее имя было Марина, а Маргаритой она называлась в семье для красоты? Впрочем, это несущественно. А то, что ее предисловие датировано 1911 годом, легко объяснить: приближалось столетие со дня Отечественной войны 1812 года и потомкам прадеда не хотелось, чтобы его имя как участника этой войны было забыто.

«Замечания о некоторых военных действиях, в которых я сам участвовал».

«Не стану описывать тех походов и действий, которые протекли во время моего служения в унтер-офицерском звании, а опишу только некоторые из тех, которые произведены мною были в офицерском чине и не дошли до сведения высшего начальства».

Так начинаются «Замечания» моего прадеда: из них можно заключить, что прадед мой был несколько обижен по службе и не получил всех наград и чинов, по его мнению, им заслуженных.

«Предварительно скажу, что я вступил в службу в Переяславский земский суд в 1793 году».

(То есть десяти лет от роду? Что-то мне непонятно. Но, может быть, в то время дворянских детей записывали в службу со дня рождения?)

«Генваря 12 числа бежал из дому и отправился в армию Его Величества 1802 года, генваря 20 дня».

Стало быть, в то время прадеду было уже лет девятнадцать. Впоследствии его сын, Иван, как мы уже знаем, с гимназической скамьи бежал из дому воевать на Кавказ — в пятидесятых годах. А я — их правнук и внук — бежал из дому уже в начале XX века, тоже с гимназической скамьи, на первую мировую войну.

В этом было что-то фамильное, бачеевское.

«1809 года, сентября 8-го, — пишет в своих „Замечаниях“ мой прадедушка Бачей, — в первом часу пополудни я послан был Житомирского драгунского полка подполковником Снарским с двумя казаками и двумя драгунами под крепость Браилов. Я проезжал впереди моей команды мимо сада Назир-паши; вдруг лошадь моя испугалась; я тотчас остановил ее, соскочил с оной, отдал ее казаку, а сам в ту же минуту схватил спящего человека в полном вооружении, зажав ему рот, и представил его к подполковнику Снарскому; от него Снарский узнал, что он стоял на часах и что в назирском саду есть команда турецких застрельщиков для того, что как донские казаки в тот сад приезжать будут, то чтобы поймать оных. Снарский тотчас же с тремя эскадронами и сотней казаков окружил сад и, видя открывшуюся перепалку, приказал мне взять 40 спешившихся драгун и занять сад, который я очистил штыками, взяв в плен 18 человек».

Отсюда можно заключить, что прадед мой был хватом, лихим воякой и сражался с турками не за страх, а за совесть.

Город Браилов, упомянутый им, да, впрочем, и весь театр тогдашних военных действий против турок по странному совпадению хорошо мне знакомы. Я воевал в этих самых местах через сто с лишним лет после прадедушки, в 1916 году, на Румынском фронте, и, будучи вольноопределяющимся, младшим фейерверкером 64-й артиллерийской бригады, исколесил со своей батареей почти всю Добруджу от Дуная до Базарджика и несколько раз побывал в Браилове, румынском городе, но ни крепости, ни садов Назир-паши не заметил. Их в то время уже, наверное, не было.

Недавно, совершая поездку по Румынии, я опять попал в Брэилу, как теперь по-румынски называется Браилов. И мне вспомнилось, как некогда я, после отступления нашей армии из Добруджи, потеряв свою батарею и кое-как перебравшись по зыбкому понтонному мосту через Дунай, шел худой и голодный, таща на спине катушку с тремя верстами телефонного провода, спасенного мною в бою под Констанцей. Я разыскивал штаб своей бригады. Была осень. От Дуная тянуло холодным туманом, и в этом тумане тонули купы пожелтевших деревьев, растущих вдоль всего берега этой широкой, разлившейся после осенних дождей реки, быстро несущей свои оловянные воды с воронками водоворотов к Черному морю.

Теперь мы переправились с правого берега Дуная на левый на пароме, уставленном легковыми автомобилями и грузовиками, нагруженными пчелиными ульями, которые перевозили с места на место.

Был конец июня. Полдень. Беспощадное солнце пекло голову, и я боялся солнечного удара, так как на пароме не было тени, а температура была выше сорока. Я пришел в отчаяние, отдавшись на милость судьбы. Однако посередине реки вдруг подул легкий ветерок и стало легче дышать.

О, как знакома была мне эта речная пресная дунайская свежесть!

Паром миновал длинный остров, заросший серебристыми деревьями, кажется, ивами, которые напоминали мне молодость. Румынский фронт. Мимо этих самых серебряных деревьев, как бы вытканых на серо-зеленом гобелене, я плыл на барже, нагруженной пушками, лошадьми, кухнями и ящиками с патронами, из Рени в Черноводы, откуда мы наступали на турок и болгар. Победа казалась совсем близка. Наши наблюдатели уже видели в свои бинокли и стереотрубы город Базарджик. Но прошло не больше месяца, и под ударами немецкой армии генерала Макензена мы откатились обратно к гирлу Дуная и в некоторых местах даже перешли на левый берег, чего можно было, собственно, и не делать, но у страха глаза велики.

Потом все пришло в порядок, и мы закрепились на правом берегу, причем один полковник, поддавшийся было инерции отступления и переправивший свою часть на левый берег, тут же получил от армейских остряков прозвище полковник Задунайский.

Все это отрывочно вспомнилось мне на пароме под палящими лучами полуденного солнца, посередине Дуная, пылающего вокруг нас, как расплавленная платина.

...мы выгрузили свою машину на плоском голом берегу, исполосованном автомобильными шинами и истоптанном человеческими следами, что делало его безнадежно скучным...

И я снова вспомнил этот самый берег и тот день поздней осени, когда я, командированный с фронта в военное училище, должен был сесть на пароход, чтобы доплыть на нем до Рени, а оттуда уже на поезде в Одессу.

С позиций я добирался до Браилова частью пешком, частью на попутных армейских повозках, частью на случайных румынских каруцах.

Осень уже переходила в зиму, и однажды, ночуя возле длинной скирды соломы и положив под голову свой черный артиллерийский ранец, я проснулся утром и увидел, что все вокруг бело и я сам — вернее сказать, половина меня, укрытая шинелью, — покрыт инеем, и в воздухе уже слышится острая снежная свежесть. Я встал, и отпечаток моего тела резко желтел среди пшеничной соломы, покрытой инеем. За ночь я порядочно промерз, а темный свет позднего ноябрьского рассвета еще более усиливал бивший меня озноб. Однако этот гнилой рассвет, унылые очертания невысоких предгорий Карпат, еле видных в тумане, мокрая дорога со следами многочисленных колес и лошадиных копыт проходивших здесь воинских частей нисколько не отразились на моем настроении; оно было бодрым и прекрасным, как только может быть у девятнадцатилетнего вольноопределяющегося, который после долгого пребывания на фронте отправляется в тыл. Я привел себя в порядок, туго перепоясался, поправил шпоры и быстро зашагал в Браилов, до которого оставалось совсем немного. По дороге меня подобрал санитарный фургон с двумя веселыми румынскими военными медиками и быстро довез до пристани, где уже дымил готовый к отплытию пароход. Я предъявил у трапа свое командировочное удостоверение и очутился на нижней палубе нарядного дунайского пароходика. Откуда-то из недр, из машинного отделения, дуло горячим ветром, пропитанным запахом пара, отшлифованной стали и минерального масла.

Пароход отчалил. Браилов поплыл назад, потонул в холодном тумане. Пошел дождь. Я продрог до костей. Мне захотелось тепла, уюта, выпить чего-нибудь горяченького. В кают-компании горели электрические бра.

Я переступил через высокий порог, откозырнув нескольким сидящим здесь офицерам, и подошел к стойке, за которой буфетчик-румын в белой куртке разливал чай.

Внутренний голос сказал мне, что нижний чин не имеет права находиться в этом прекрасно освещенном, красивом, теплом помещении, пропитанном запахами папиросного дыма, круто заваренного чая, кофе и еще чего-то пряно-колониального. Но другой внутренний голос ответил на это, что я хотя и считаюсь по уставу нижним чином, но являюсь вольноопределяющимся, младшим фейерверкером, у меня на шинели нашита георгиевская ленточка, а на рукаве — тесемочка за отравление газами, я еду поступать в военное училище и скоро стану офицером, наконец — на мне прекрасное новое обмундирование, отличные хромовые сапоги со

шпорами (правда, грязноватые), у меня молодое интеллигентное лицо, я состою в любовной переписке с хорошенькой дочкой генерал-майора, командира нашей бригады, так что вполне могу находиться в этом привилегированном месте, среди офицеров.

В нагрудном карманчике моей суконной гимнастерки вместе с командировочным удостоверением имелось несколько румынских бумажных лей, полученных в канцелярии бригады в виде суточных, кормовых и приварочных за четыре дня.

Чай подавался в больших толстых фаянсовых чашках с синим вензелем пароходства. Я заказал себе — на ужасном французском языке — чаю покрепче и погорячее, а так как я заметил на полке массивную бутылку ямайского рома с головой негра, то попросил буфетчика положить в чай побольше сахара и долить чашку ромом.

Наступила минута, о которой я мечтал всю жизнь: я уже вполне взрослый, самостоятельный человек, обстрелянный в боях солдат. Я нахожусь на корабле; у меня в кармане кредитные билеты; я весел, независим, и я небрежно заказываю стюарду большую чашку горячего чая с красным ямайским ромом, то есть, по сути дела, пунш.

Буфетчик поставил передо мной чашку, и тотчас в воздухе распространился запах ямайского рома. Я потрогал чашку пальцами: она была горячей, почти огненной. Я предвкушал блаженство первого глотка. Но для того, чтобы оттянуть минуту наслаждения, продлить миг ожидания, я сначала расплатился с буфетчиком, щедро оставив ему всю сдачу на чай, а потом осторожно лизнул языком край чашки, ощутив спиртуозное испарение обжигающего напитка. Еще минута — и я буду с жадной медлительностью пить чай, чувствуя тепло, разливающееся по моему продрогшему телу.

Но как раз в этот миг за моей спиной раздался повелительный голос:

— Вольноопределяющийся!

Я обернулся и увидел офицера с кожаным портсигаром на ремешке через плечо, развалившегося на бархатном диване. Он поманил меня пальцем. Я быстро поправил фуражку и с рукой под козырек подошел к нему строевым шагом, остановился как вкопанный по уставу за четыре шага и брякнул шпорами.

— Кэж вы смээте нэходиться в эфицерской кэют-кэмпании! — крикнул он гвардейским тенором, от которого мурашки побежали по моей спине и в голодном желудке еще больше похолодело. — Вон этсюда нэ пэлубу, и чтобы я вас здесь больше не видел! Распустились!

Я хотел объяснить ему, что я интеллигентный молодой человек, еду с фронта поступать в военное училище, очень озяб и хочу выпить чашку горячего чая с ромом, но язык не слушался меня, и я пролепетал какую-то чепуху.

— Кр-ру-гом! — загремел офицерский голос. — И нэ пэлубу шэгом эррш!

Продолжая держать руку под козырек, я повернулся на каблуках и строевым шагом вышел из кают-компании на палубу мимо стойки, где медленно испарялась чашка моего чая, распространяя вокруг божественный аромат красного ямайского рома.

На палубе было холодно, ветер нес порывами над оловянными водами Дуная полосы мелкого ледяного дождя, возле люка машинного отделения, сидя на своих вещевых мешках, грелись несколько раненых солдат-пехотинцев, едущих, по-видимому, в тыл; я подсел к ним, они посунулись, давая мне место, и угостили меня щепоткой махорки «тройка» и клочком бумаги, вырванным из румынской газеты «Адаверул», и я довольно ловко скрутил сигарку и затянулся горьким, сытным солдатским дымком, в то время как перед моим умственным взором как бы плыла в сыром воздухе большая фаянсовая чашка чая с ромом. Я чуть не плакал от обиды и огорчения, но не показывал виду и выпускал из ноздрей крепкий махорочный дым.

Вот уж верно говорится: по усам текло, а в рот не попало.

Я думаю, что пушкинский Руслан испытывал нечто подобное, когда из его объятий выскользнула и бесследно пропала Людмила, унесенная Черномором. С той лишь разницей, что Руслан в конце концов нашел свою «минутную супругу» и выпил чашу брачных наслаждений до дна, в то время как моя чашка горячего чая с ромом была потеряна навеки и ее образ преследовал меня всю жизнь как неудовлетворенное желание, хотя в своей жизни впоследствии я выпил много чашек чая с ямайским ромом, но это уже было не то, совсем не то.

А та единственная, неповторимая чашка осталась навсегда как первая неразделенная любовь, и, если сказать правду, ее образ преследует меня до сих пор; я так ясно ее вижу: толстую, фаянсовую, белую, с синей монограммой румынского дунайского пароходства, распространяющую вокруг колониальный запах красного ямайского рома.

...А между тем кончался уже шестнадцатый год, последний год старой, царской России...

«...того же года и месяца 12 числа, — продолжает описывать свои подвиги прадедушка, — тоже ночью были поиски под крепостью Браиловом; подполковник Снарский послал меня с 24 драгунами и 30 казаками, велел затем секретно выйти от крепости Браилова по Галацкой дороге, где и находится до восхождения солнца, секретно наблюдая за действием неприятеля, но отнюдь не начинать никаких действий, а он, Снарский, с батальоном егерей, четырьмя эскадронами драгун, тремя сотнями казаков и двумя орудиями, под командой есаула Суворина состоящими, оставался под горой. При восхождении солнца заметив турецкий отряд, я тотчас, спрятав свою команду в большой бурьян на месте разоренной деревни, дал знать подполковнику Снарскому, но когда увидел, что турки в числе 20 человек, не заметив меня, возвращались обратно к крепости, то я, не дождавшись приказа г. Снарского, пустился вслед за ними, схватил 8 человек в плен на том самом месте, где во время несчастного штурма Браилова стоял лагерь фельдмаршала Прозоровского».

«После сего я, заметив, что турки начали выскакивать из крепости, повел с ними перепалку в надежде той, что г. Снарский пришлет ко мне в сикурс капитана Рейнгольфа и с оным более ста человек драгун и казаков, но капитан Рейнгольф, видя перепалку, остановился в дальнейшем от меня расстоянии; я послал 8-го полка урядника Житнева спросить г. Рейнгольфа, что прикажет мне делать, и получил в ответ, что ему велено открыть Галацкую дорогу, идущую из Браилова к Серету, а потому чтобы я с командою к нему присоединился».

«Хотя такое распоряжение было для меня неприятно, но я принужден был исполнить оное».

«Прикрыв отступление г. Рейнгольфа своею командою, я начал было спускаться с горы тропою вниз, в большие камыши, к Серету, но в то время я заметил идущий эскадрон напротив турок, остановил свою команду, а вместе с оной осталось несколько отличных охотников из партии егерей, так что моя партия простиралась до 80 человек; тогда я велел людям встать с лошадей, дать оным отдохнуть, а сам замечал за действием наших и неприятельских войск; между тем я узнал, что эскадроном, который уже вступил в бой с турками, командует бывший адъютант генерала Олсуфьева лейб-гвардии финляндского батальона капитан Г. (что ныне генерал от инфантерии). Он заметил, что с левой стороны прибыл к нему эскадрон драгун под командою майора К. и что из отряда Снарского также есть подкрепление; но турки усилились так, что начали наших теснить в Браилов».

«Тогда я со своей партией выскочил из-за горы и поскакал в отрез туркам, а как в то время была сушь, то в пыли турки не могли заметить хозяйничания моей партии, а увидя впереди идущее подкрепление с артиллерией, бросились бежать до крепости, потеряв немалое количество людей».

Прадед мой, по-видимому, не отличался особой скромностью, что было в духе того далекого времени, когда военные являлись если не единственной, то, во всяком случае, одной из главнейших опор государства.

Быть героем считалось непременно условием каждого военного, и прадедушка мой, несмотря на свои скромные чины, не являлся исключением.

...высокий густой бурьян, знойное сентябрьское солнце; тучи белой пыли на дорогах, по которым двигались войска; черные рыбацкие челны в густых камышах; турецкая крепость, окруженная пыльными садами Назир-паши; ржанье казачьих лошадей, пики, султаны кавалеристов; скрип фурштадтских повозок; палатки, белеющие по склонам холмов — последних отрогов Карпат; пушечная пальба; хлопающие выстрелы карабинов; развернутые знамена; крики военной команды; трубы горнистов; скачущие адъютанты...

Как все это было не похоже на ту войну, в которой я участвовал более ста лет спустя. Дунай был рекой моей военной молодости, рекой наступлений и отступлений, как бы рубеж, разделивший юг России на дореволюционный и революционный.

До революции весь этот театр военных действий против турок, болгар, немцев и венгров назывался Румынским фронтом, или, в штабном сокращении, Румфронтом. После революции Румфронт превратился в Румчерод.

Февральская революция совершилась, но война еще продолжалась.

В последний раз, уже во времена Керенского, я дважды пересек реку Прут по железнодорожному мосту над древесными зарослями широкой поймы этой реки, так тесно связанной с судьбами моей семьи: один раз туда, когда, уже будучи прапорщиком, я вез свою маршевую роту на фронт, переместившийся из Добруджи на север, в район румынского города Бакэу, куда, перевалив через Карпаты, наступал Макензен, а другой раз через месяц, раненный во время нашего летнего наступления, уже обратно, в санитарном поезде, в жару, в бреду, качаясь на полотняной койке, окруженный странными видениями, ночью, я снова пересек заросшую лесом пойму реки Прут между Яссами и Унгенами и снова погрузился в непознанный мною еще тогда мир моих предков. В моем бреду участвовали зловеще-черные ветряные мельницы, сады, виноградники, кладбище, заросшее сухой полынью, и старая церковь петровских времен, наполовину каменная, наполовину деревянная...

...и горящие кареты, и турецкая конница, и Петр в треугольной шляпе, едущий рядом с Кантемиром среди прыгающих ядер и свистящих пуль, осененный рваными знаменами...

Во времена военной молодости моего прадеда обстановка на турецком театре военных действий, если не врут историки, что бывает частенько, сложилась примерно таким образом.

К апрелю 1809 года, то есть с того года, с которого прадедущка мой начал свои записки, силы русской и турецкой армий были примерно равны: тысяч 80 и у тех и у других. Однако русские войска были изрядно закалены во многих сражениях, сравнительно хорошо снаряжены, а также имели таких незаурядных боевых командиров, как Кутузов, Милорадович, Платов, знаменитый французский эмигрант Ланжерон, находившихся под общим начальством главнокомандующего Прозоровского.

Турецкая же армия за небольшим исключением представляла какой-то сброд, а начальствующий над нею великий визирь Юсуф, известный главным образом по тем поражениям, которые нанес ему Бонапарт в Египте, был уже восьмидесятилетним стариком.

Александр I дал приказ скорей перейти Дунай и закрепить за собой румынские области.

5 апреля армия, в которой служил мой прадедущка, не дожидаясь ответа на свой ультиматум туркам, тронулась тремя колоннами: она заняла без труда Фокшаны, затем, как теперь говорится — с ходу, захватила крепость Слободзею, но потерпела неудачу при штурме Журжева. Затем она приступила к осаде крепости Браилов. Штурм русских с 1 на 2 мая был отбит, причем потери равнялись 5 тысячам человек.

Легенда гласит, что известием об этом поражении главнокомандующий Прозоровский был так расстроен, что даже заплакал.

Присутствовавший же при этом будущий герой Отечественной войны 1812 года, победитель Наполеона Кутузов будто бы сказал Прозоровскому в утешение:

— Ваше высокопревосходительство, стоит ли расстраиваться? Я проиграл Аустерлицкое сражение, от которого зависела судьба Европы, и то не плакал.

Каков характер Кутузова!

После двойной неудачи под Журжевом и Браиловом император Александр I приказал не тратить сил на штурмы турецких крепостей, а идти прямо на Константинополь.

Прадедущка продолжает:

«1810 года июня с 25 на 26 заложена была под крепостью Шумла батарея, близ Цареградских Ворот, расстоянием от крепости не далее 150 саженей. Здесь на работе и для прикрытия было несколько батальонов, в том числе батальон пехотного Нейшлотского полка. (В сем полку я сам служил подпоручиком.)»

Стало быть, за год наши войска прошли всю Добруджу, что при тогдашней технике можно считать сроком довольно коротким.

Сто лет спустя я сам прошел со своей батареей почти всю Добруджу, не подозревая, что иду по следам своего прадеда, однако до подступов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал от моего предка, которого занесло под самую Шумлу, к Цареградским Воротам!

«Путру 26 числа, — продолжает прадед, — после развода караулов, я просил шефа полка полковника Баллу позволения осмотреть новостроящуюся батарею, равно и батальон Нейшлотского полка, там находящегося, и хотя г. Балла с неудовольствием сказал мне:

— Наверное, хочешь ты что-нибудь напроказничать с турками, — но отпустил».

«...я приехал к последнему бикету, отдал лошадь казаку и взошел на батарею; я увидел оную в худом положении, ибо каменная почва не позволила в одну ночь даже прикрыть бруствер, а только один фас прикрыт землею».

«Здесь стоял полковник Белокопытов с 28-м егерским полком. Заметивши, что на правом фланге батареи, на турецком кладбище, стоит того же полка бикет под командованием унтер-офицера, пошел к оному, и видя, что турки, нуждаясь в траве для своих лошадей, выходят из крепости и режут серпами траву около крепостной канавы, взял у егеря ружье и выстрелил по турку; он отвечал мне; с сего завязалась перепалка».

«Г. Белокопытов, видя усиливающихся турок, прислал еще с унтер-офицером сикурс. Я принял над сим отрядом команду и, заметя, что у турок показалось два знамени, велел людям приготовиться в случае чего принять неприятеля в штыки...»

«...как вдруг турки закричали:

— Алла! Алла!

И бросились на наших людей, из которых малая часть храбрых осталась на месте жертвою».

«Стрелки, оставив меня, бежали. Тут, признаюсь, я уже не кричал, чтобы остановить бегущих моих людей, а сам бежал за ними. Но когда какой-то турок наскочил на меня с саблею, то я ударил его в бок штыком и бросил в него ружье. Он упал на землю, а сам я, обнажив саблю, колол моих бегущих егерей, изранив некоторых саблею и тем самым остановивши оных».

«С помощью подоспевших конных орудий роты подполковника Бушуева на штыках опрокинул я со своими людьми турок и взял из них четырех человек в плен».

«Тогда, заметивши, что вся наша армия, стоявшая под командою графа Каменского 2-го, пришла в движение, я поспешил взять свою лошадь и хотел ехать в лагерь, как вдруг увидел, что Нейшлотский полк прошел с левой стороны батареи и стал впереди в прикрытие оной. Тогда я явился к шефу полка полковнику Балле, который с неудовольствием сказал мне сии неприятные слова:

— Это твоя работа! Ступай в стрелки, смени штабс-капитана Мавжинова да потешься, коли тебе так нравится проказничать!»

Видно, прадедуска был порядочный «проказник».

«Я тот же час сменил Мавжинова, принял 120 храбрых стрелков, кои были расположены в худой позиции; из них некоторые уже были ранены. Я тотчас переместил позицию, расположил оных по выгодным местам в две линии».

«Тут люди, ободренные нашим прибытием, повели убийственный огонь противу шанцев, прикрывавших Цареградские Ворота, и видя меня расхаживающего между ними, промеж себя говорили:

— Его пуля не берет, он знает, как ее заговаривать».

«После сего я заметил, что шанцы, прикрывавшие Цареградские Ворота, усилены войсками, в коих показались 9 знамен, и что турки начали уже выходить даже со знаменами перед шанцы».

«Положение наше было таково: с правой моей стороны ручей, выходящий из Шумлинской канавы и текущий вниз, к Эски-Стамбулу, повыше Ени-Базара, а левый мой фланг по-над крепостной канавой, которой вал возвышен так, что моим стрелкам пушки не могли нанести вреда».

«Я послал к полковнику Балле фельдфебеля Гатова доложить, чтобы мне еще привели подкрепление. Через четверть часа 100 человек стрелков и поручик Семенов, остановя оных позади, прибыл ко мне спросить распоряжения. Но так как Семенов был старше меня чином, то я спросил его, что, быть может, мне велено состоять под его распоряжением, и, узнав, что он должен составить только резерв, мною сделаны были ему

некоторые наставления. Но в тот же самый миг Семенов был турецкой пулей повержен на землю».

«Я приказал отнести его на ружьях в полк и принял его команду в свое ведение. Заметив, что турки пошли вышеописанным ручьем с намерением обойти наш левый фланг, я тотчас приказал подпоручику Окиловичу взять 40 человек охотников, дабы отрезать турок».

«Окилович исполнил свое дело со всей точностью. Молодец!»

«Между тем прибыл на батарею генерал Уваров. Заметив мое действие, спросил, которого я полка, и прислал мне 100 человек егерей 28-го полка; немного спустя прислал мне ординарца сказать, что эскадрон Александрийского гусарского полка будет идти в атаку на шанцы турок и чтобы я прикрыл фланги эскадрона стрелками. Я исполнил приказание и, увидя, что эскадронный командир убит и гусар много пало, приказал им поспешно отступить».

«Тогда, сомкнув стрелков, на плечах неприятеля вскочил я в шанцы, переколов штыками значительное число турок, отбив 4 знамени, 15 снарядных ящиков с патронами, которые тут же и затопил в протоке».

«Будучи от самых Цареградских Ворот не далее 40 сажений и видя, что в оных стояло несколько тысяч турок и уже закотившееся солнце, велел я ударить отмарш».

По-видимому, отмарш — это по-теперешнему отбой.

«Тут гренадер Сидоров сказал мне сии достопамятные слова:

— Что вы, ваше благородие, делаете? Вот Ворота уже почти в наших руках, а вы велите отступить!..»

«...но роковое ядро из корпуса графа Каменского 1-го разорвало Сидорова надвое...»

«Итак, сей храбрый гренадер пал жертвою оттого, что наших пушек не подвинули ближе или, по крайней мере, не подняли стволами вверх».

«Но за всем тем я отступил, оставя неприятельские шанцы, к своему полку уже в сумерках и, когда взошел на возвышенность, тут из крепостной артиллерии покрыт был жестоким огнем и контужен ядром так тяжело, что через несколько дней пришел в чувство уже в енибазарском госпитале. Там я узнал, что генерал Уваров и главнокомандующий Каменский были довольны моими действиями. Потом я узнал, что взятые мною 4 турецких знамени представлены главнокомандующему, а о 15 снарядных ящиках, мною потопленных, только слух носился, но без меня, так как я лежал без сознания в госпитале и некому было объяснить начальству, что это сделал я».

«Итак, за мое дело многие были награждены орденами, в том числе поручик Семенов награжден орденом святой Анны 3-го класса, а мои награды...»

«...мои награды пролетели мимо меня вместе с теми пулями, которые в меня не попали...»

Этими горькими словами заканчиваются записки прадедушки, относящиеся к его участию в турецкой кампании.

Читая и перечитывая эти записки, я все время не только ощущал как бы свое присутствие при описанных событиях, но даже причастность к ним, личное участие в них.

Иногда мне даже кажется, что в меня вселилась душа моего прадеда и что все это происходило со мной: и штурм Цареградских Ворот, и так несвоевременно заходящее солнце, и горькие слова гренадера Сидорова, и вынужденное отступление в тот самый миг, когда, казалось, победа была так близка, и купола и минареты стамбульских мечетей, среди которых так ясно выделялась мне Айя-София с крестом вместо полумесяца, голубели на фоне бледно-фосфорического неба неизмеримо далекого восточного горизонта.

Но то, что прадедушке и гренадеру Сидорову казалось такой горькой случайностью, на самом деле было следствием крупного поворота исторических событий, о чем в то время в армии никто даже и не подозревал.

...Весной 1811 года, пишет историк, русская армия усилилась на 20 000 человек. Смелым маршем на Балканы Каменский двинулся на Константинополь. Вдруг Каменский получил из Петербурга приказание, совершенно его удивившее: ему велено было отправить пять дивизий на Днестр (это уже было началом отлива русских военных сил к будущему северному театру военных действий, то есть приближение

Отечественной войны 1812 года).

Каменский заболел и был заменен Кутузовым. Кутузов, который еще во времена Екатерины и Суворова был свидетелем битв при Ларге, Кагуле, Мачине, понял, что всякая надежда форсировать дорогу на Константинополь должна быть оставлена. Назревала новая, страшная война с Наполеоном. И Кутузову выпал жребий стать героем этой войны, победителем Наполеона.

Прадедушка еще некоторое время, вплоть до заключения мира с турками, на котором настоял император Александр I, воевал в Добрудже.

Ах, Добруджа, Добруджа!.. Иногда ты снишься мне.

В то время, когда в середине 1916 года наша артиллерийская бригада, внезапно переброшенная из-под Сморгони, где в течение нескольких месяцев мы сдерживали натиск немцев и отвлекали их силы от Вердена, в при-дунайский город Рени, расположилась лагерем со всеми своими трехдюймовками, обозами и парком среди пыльных сливовых садов и огородов и ждала, когда Румыния наконец вступит в войну против немцев на нашей стороне и мы переправимся через Дунай на театр военных действий, я получил кратковременный отпуск в Одессу и болтался там, разыгрывая из себя перед знакомыми барышнями героя знаменитых боев под Сморгонью, щеголяя новыми хромовыми сапогами и медными пушечками на погонах вольноопределяющегося.

Однако мне не пришлось долго валандаться в тылу: Румыния объявила войну Германии, я поспешил в свою часть и через сутки уже был в опустевшем Рени. Мне пришлось догонять свою батарею, пристроившись на одну из барж, которая везла вверх по Дунаю продовольствие, фураж и боеприпасы для действующей армии.

Не стану описывать свое плавание на барже, которую ташил за собой маленький, но могучий катерок, красоту широко разлившегося Дуная, мутно-голубые отроги Карпат, таинственно видневшиеся вдалеке, на румынской стороне.

Иногда навстречу нам шли катера или мониторы, откуда нас приветствовали гудками и флагами.

Не помню уже, сколько времени продолжалось путешествие на барже, но вскоре мы достигли города Черноводы, откуда я должен был согласно предписанию военного коменданта Рени следовать дальше по железной дороге до города Меджидие, где, по его предположению, должны были находиться тылы нашей бригады, ведущей наступление на Базарджик.

Высадившись на берег, я очутился на немощенной площади, сплошь истыканной лошадиными копытами и заваленной пачками прессованного сена. Посреди площади находилась кофейня, имевшая вид дощатого сарая, со столиками, расставленными под открытым небом на черной земле. Возле кофейни возвышался высокий шест с пучком соломы, что, по-видимому, являлось как бы вывеской этого заведения, а на крыше висел румынский национальный флаг, говоривший, что я уже нахожусь за границей.

За столиками сидели румынские простолюдины в высоких бараньих шапках, бараньих жилетах и пили из маленьких чашечек черный турецкий кофе, заедая его вишневым вареньем из таких же маленьких блюдец и запивая свежей водой, которую каждые пять минут меняла хорошенькая румынка в красной юбке и черном корсете, но босая.

У меня не было денег, и я мог лишь полюбоваться видом кофейных чашечек и блюдец с красной вишенкой посередине.

Кое-как я добрался до станции железной дороги и узнал, что поезд на Меджидие отправляется лишь в семь часов утра, а так как розовое августовское солнце еще только собиралось опуститься за пыльные фруктовые сады, длинные скирды свежей ярко-желтой соломы и черепичные крыши хорошеньких мещанских домиков с угловыми балконами и колодцем против каждого ворот, то я с грустью понял, что мне не остается ничего другого, как устроиться на длинной лавке под станционным навесом и кое-как переночевать, положив под голову ранец, набитый всякой всячиной, которую я вез из тыла в подарок своим товарищам по оружию.

На станционной площадке не было ни души. Я уже собирался расположиться на лавке, как вдруг...

...мое внимание привлекла женская фигура, появившаяся на платформе.

Она несколько раз медленно прошла мимо меня, но лица ее я не мог разглядеть, так как оно было закрыто кисейной чадрой, выкрашенной в мутно-голубой цвет домашним способом. Чадра эта опускалась ниже колен,

почти до самой земли.

По-видимому, это была молоденькая девушка.

Весь ее стройный стан, невинная худоба рук, легкая походка говорили, что ей лет семнадцать. Меня взяла досада, что я не мог рассмотреть ее лица, но длинные волосы льняного цвета, почти белые, заплетенные в две косы, давали понять, что она если и не красива, то, во всяком случае, очень мила.

В то незабвенное время я еще придавал слишком большое значение красоте женского лица.

Мне показалось, что сквозь голубую кисею я увидел робкую улыбку, явно относящуюся ко мне. Мне даже показалось, что в этой улыбке проскользнуло что-то грешное. «Чем черт не шутит», — подумал я.

Судя по ее недорогой обуви, можно было заключить, что она принадлежит к невысокому классу черноводского общества, и это еще более воспламенило меня. «Доступная мещаночка», — подумал я и прошел быстро мимо нее, сделав ей то, что тогда называлось «глазки».

Ветер на миг откинул ее вуаль, и я увидел белое личико, усыпанное золотистыми веснушками, которые, впрочем, ничуть его не портили.

Я уже собрался щелкнуть шпорами, откозырять и предложить познакомиться, но в решительный момент робость одолела меня: в свои девятнадцать лет я еще не был достаточно испорчен. Я покраснел и удалился на свою скамейку, делая вид, что поправляю ранец.

К своему удивлению, я заметил, что моя незнакомка снова еще более медленным шагом прошла мимо меня, а потом остановилась, как бы ожидая, что я подойду к ней.

Преодолевая смущение и делая вид завязтого армейского волокиты, я подошел к ней и приложил руку к козырьку потрепанной в боях фуражки. Она благосклонно мне поклонилась.

Трудность положения заключалась в том, что у нас не было общего языка. Я попытался сказать ей комплимент по-французски, который я еще совсем недавно изучал в гимназии. Она ничего не поняла, но вдруг сказала мне какую-то фразу на незнакомом языке, но не на румынском, а на каком-то другом, напоминающей один из древних славянских диалектов. Из ее фразы я смутно понял, что она рада нашему знакомству и называет меня «господин офицер».

Скорее знаками, чем словами, я объяснил ей, что я не офицер, а всего лишь вольноопределяющийся, волонтер, показал ей на свои погоны со скрещенными пушечками и сделал губами звук «бум-бум». Она поняла и ласковым голосом произнесла слова:

— Храбрый воин, солдатик.

Мне показалось, что я ей понравился, и в моем воображении сразу же возникла картина мимолетной любовной интрижки странствующего артиллериста и обольстительной туземки, обещавшей прекрасную ночь.

Сделав над собой известное усилие, я взял ее под руку.

Она смутилась, но руки не отняла. Мы некоторое время погуляли туда и назад по станционной платформе, причем я старался как бы невзначай прижать ее тонкий стан к себе.

Оказалось, она, как я и предполагал, не румынка, а принадлежит к так называемым русинам, народу, населяющему некоторые придунайские области.

...Вскоре мы стали довольно хорошо понимать друг друга...

Солнце уже закатилось, но на небе еще долго держалось его зарево. Потом и оно исчезло. Наступили сумерки.

Девушка, взглянув на меня таинственно из-под вуали, нежным голосом произнесла довольно длинную фразу на своем неясном славянском наречии. Слов ее я не понял, но ее жесты были понятны: она приглашает меня к себе. Для меня не было ни малейшего сомнения в значении этого приглашения на пороге ночи, и я еще крепче прижал к своему боку ее худенький локоть. Это ее, очевидно, несколько смутило, так как она сделала слабую попытку высвободить руку, но я был настойчив и не выпустил ее из плена.

Я взвалил на плечи ранец, и мы отправились вниз по немощеной полудеревенской улице, состоящей из двух рядов хорошеньких домиков-хаток с палисадниками, где в потемках все еще ярко рдели крупные георгины, источавшие волнующий запах растительного тления.

Девушка пропустила меня в одну из калиток и, взяв за руку, ввела через угловую террасу в дом, показавшийся мне безлюдным.

Боже мой, какими глупостями занимался я в эти страшные дни, быть может, на пороге смерти, когда вокруг бушевала мировая бойня... А мне даже и в голову не приходило, что завтра меня, может быть, уже убьют на позициях нового Румынского фронта, и отец, сняв пенсне, будет плакать над роковым извещением, и брат мой, гимназист Женя, придет в гимназию с траурным крепом на рукаве...

В большой низкой комнате, обставленной по-мещански, с рукодельным шерстяным ковром на стене, стояли друг против друга две кровати под вышитыми покрывалами.

Я привлек к себе девушку и, не теряя золотого времени, сделал попытку ее поцеловать, но она вежливо отвернулась и, таинственно прижав пальчик к губам, сказала на своем странном языке нечто, понятное мною как просьба не торопиться. Она показала мне на одну из кроватей. Я понял, что эта кровать предназначена мне. Затем она снова вывела меня на улицу и показала знаками, что, когда настанет ночь и взойдет луна, она придет ко мне в этот дом, заставила меня запомнить номер, написанный на воротах, и быстро ушла, оставив меня одного.

В ожидании ночи я стал бродить по Черноводам, напоминавшим скорее большое село, чем город.

Наконец настала ночь.

Я нашел знакомые ворота, пробрался в палисадник и через сени, стараясь не скрипеть сапогами, вошел в комнату.

Сначала, не зажигая огня, я долго сидел впотьмах на подвернувшемся мне стуле, нетерпеливо ожидая появления девушки, но потом лег на кровать и решил немного вздремнуть, свесив наружу ноги в сапогах, чтобы не запачкать покрывала.

Но, как известно, стоит только солдату прилечь, как он тут же и заснет крепчайшим сном.

Я проснулся среди ночи. Яркая луна изо всех сил светила в окошки с кружевными занавесками. Где-то лаяли собаки. Черные тени деревьев виднелись в окнах.

Придя в себя после сна, крепкого как обморок, я вдруг вспомнил про девушку, прислушался и услышал дыхание на противоположной кровати.

Я понял, что, пока я дрыхнул, пришла девушка и, не желая меня будить, прилегла на свободную кровать. Я прислушался к ее ровному дыханию, и кровь закипела во мне.

Скинув сапоги, я приблизился к ее кровати вкрадчивой походкой графа Нулина. Протянув в потемках руку, я тронул похолодевшими пальцами укрытое одеялом плечо. Девушка не пошевелилась. Я потряс ее плечо посильнее.

Она пошевелилась, раздался глухой грубый кашель, мычание, чья-то рука потянулась к стулу, на котором стоял подсвечник, чиркнула серная спичка, и при свете загоревшейся свечи я увидел громадного, как медведь, мужчину с лицом разбойника и вьющейся бородой, иссиня-черной, как ежевика.

Разбойник посмотрел на меня с добродушной улыбкой и произнес несколько слов, из которых я понял лишь:

— Рус, молодец. Надо спать.

При этом он показал волосатой рукой на мою кровать, задул свечу и тут же страшным образом захрапел.

Испуганный до смерти, я отступил к своему ложу, положил на всякий случай под подушку заряженный наган, вынул его из кобуры, и решил больше не спать, так как был уверен, что меня заманили в разбойничий притон и собираются ограбить и убить. Я проклинал себя за легкомысленное знакомство и со страхом прислушивался к несомненно притворному храпу разбойника.

Однако сон сморил меня, я опять крепко заснул, сунув руку под подушку, а когда открыл глаза, то увидел, что уже совсем рассвело, в комнате нет никого, кроме меня, а на комод, покрытом вязаной попонкой и уставленном какими-то гипсовыми фигурками и морскими раковинами, стоит глиняный кувшин с молоком, покрытый большим ломтем желтого пшеничного хлеба с примесью кукурузной муки.

Хотя я чувствовал себя обманутым и обиженным, но голод не тетка, и я быстро опустошил кувшин с холодным жирным молоком, заев его удивительно вкусным хлебом.

...На дворе уже кричали третьи петухи...

Я обулся, сунул руки в лямки своего ранца, надел его и, отбиваясь ногами от преследующей меня дворовой собаки, спущенной на ночь с цепи, вышел за калитку.

Каково же было мое удивление, когда у ворот я увидел свою девушку и услышал ее странный голос, желавший мне на своем русинском языке доброго утра; она показывала рукой в сторону железнодорожной станции. Я понял, что она боится, как бы я не опоздал на поезд.

Она довела меня до станции. Мы успели как раз вовремя: через пять минут маленький румынский поезд с вагонами на европейский лад (множество дверей, выходящих из купе прямо на платформу) дал свисток и тронулся в путь.

Я смотрел в окно вагона на девушку, которая посылала мне прощальные поцелуи, махала накрахмаленным платочком и крестила меня своей худенькой цыплячьей ручкой.

— Храни тебя бог!..

...или нечто вроде этого крикнула она вслед моему уходящему поезду...

Тут я наконец понял, что произошло: добрая молоденькая русинка, увидев на станции одинокого русского военного, отправляющегося на позиции и не имеющего крова, решила отвести его в знакомый дом, где бы он мог переночевать по-человечески.

Это было традиционное внимание к солдату — союзнику, другу, единоверцу, защитнику отечества.

Я ехал в купе румынского пассажирского узкоколейного поезда. Меня окружали румыны в фетровых шляпах, некоторые в бараньих жилетах — пассажиры, едущие в Меджидие. Некоторые читали румынские газеты, громко обсуждали начавшиеся военные действия и закусывали, доставая еду из дорожных корзиночек.

Я оказался в центре внимания. Еще бы: русский военный, отправляющийся на фронт. Пассажиры рассматривали мою амуницию, угощали виноградом и брынзой, ласково на меня смотрели, заговаривали со мной по-румынски, часто употребляя слово «рэзбой», что обозначало, как я вскоре догадался, «война». Тогда же я узнал, что хлеб называется «пыне», вода — «апэ», кукуруза — «попушой», а сыр — «кашкавал», что меня в глубине души несколько смешило.

Пассажиры видели во мне боевого русского солдата, артиллериста, и я пытался рассказать им по-французски, как наша батарея воевала под Сморгонью и как я был отравлен удушающими газами. При этом я для убедительности даже немного покашлял, и румыны стали горестно вздыхать, повторяя на все лады:

— Рэзбой!.. Рэзбой!..

Вскоре поезд прибыл в Меджидие, где возле живописного восточного базара белели минареты старой турецкой мечети, реквизированной нашими войсками под штаб корпуса.

В прохладном сводчатом помещении вместо слов Корана раздавался стук штабных пишущих машинок, поставленных на пустые ящики от снарядов. Я отыскал дежурного офицера. Он указал мне расположение нашей батареи. Я поспешил отправиться сначала пешком по узкому, но аккуратному шоссе среди сжатых полей непривычно желтой пшеницы и плантаций поспевающей кукурузы с бунчуками подсохших соцветий, в которых было что-то турецкое. Потом меня подвезла полковая фурманка, нагруженная цинковыми ящиками с патронами. В отдалении уже слышались звуки пушек, которые всегда напоминали мне выбивание ковров. Я почувствовал себя на фронте. Душа моя незаметно сжалась, внимание обострилось.

День был жарок, безоблачен и ангельски-прекрасен, но тень смерти уже мерещилась мне на закатном

горизонте.

Низко над нами откуда ни возьмись пролетела эскадрилья немецких аэропланов «таубе» с загнутыми назад концами крыльев, и наши лошади вздернули дышла и шарахнулись в кукурузу. Но «таубе» уже скрылись из глаз.

Наконец я увидел коновязь с нашими батарейными лошадьми, потом передки, спрятанные в пологой балке, и наконец свою родную батарею с «точкой отметки» в виде высокого шеста с фонариком.

Оказалось, что немецкие летчики только что кинули несколько небольших бомб на нашу батарею, и хотя кое-где виднелись свежие воронки, но батарея наша нисколько не пострадала.

Солдаты — канониры, бомбардиры и фейерверкеры, мои товарищи по оружию, окружили меня, и я не теряя времени сразу же стал раздавать им привезенные из тыла гостинцы, но тут из своего окопчика выскочил телефонист и прокричал только что принятую команду:

— Передки на батарею!

...это значило, что батарея снимается с позиции.

Вскоре наши изрядно-таки потрепанные еще под Сморгонью трехдюймовки, прицепленные к передкам, и вдвоенные зарядные ящики, нагруженные ранцами и вещевыми мешками, двинулись на юго-запад, догоняя части нашей и сербской пехоты в еще незнакомых мне шапочках-хаки (типа нынешних пилоток), которые смяли противника и по пятам турок и болгар наступали на Базарджик.

Тут уже как бы начинался мир военной молодости моего прадеда. Хотя техника была другая, но пейзаж вокруг оставался все тем же древним, турецким, с брошенными турецкими поселениями, полуразрушенными деревенскими минаретами, с отравленными колодцами и зловещими крюконосыми старухами, посылающими вслед нам проклятия на непонятном нам языке. Иногда в стороне открывалось Черное море, но это было уже совсем другое море, не похожее на то, которое я привык видеть с детства на Ланжероне, в Отраде и на Малом Фонтане, а пустынное, дикое, видневшееся темно-индиговой полосой над обрывами, поросшими мелкой серебристой полынью и богородичной травкой, среди которых иногда белели мраморные остатки античных колоний. А впереди мое воображение рисовало исторические картины столетней давности: сражение возле Цареградских Ворот, взятие Эски-Стамбула, Шумла, Марица... Граф Каменский, скачущий в облаках пыли, окруженный казачьим конвоем. Турецкие знамена. Русские знамена. Заходящее солнце. Дым пожарищ. Крест на святой Софии и башни Константинополя... Все смешалось в моем воображении.

Мы наступали. Сербы сражались как львы. Наши наблюдатели уверяли, что видят в бинокль Базарджик... Впервые я испытал радость наступления.

Так началась наша румынская кампания, которая, впрочем, кончилась тем, что мы едва не попали в мешок к появившимся немцам и корпус генерала Макензена гнал нас обратно почти до самого Дуная, что сильно отличалось от победоносной кампании моего прадеда в этих же местах.

Но ведь то было время Суворова, Кутузова, Милорадовича, Ланжерона. Каменского, даже Чичагова...

«По замирению с турками, — пишет прадед мой под особым заголовком „Достопамятный 1812 год“, — Нейшлотский полк из Белграда, что в Сербии, форсированным маршем под командованием графа Орурка следовал к реке Березине, а после, будучи уже под командой генерала Рудзевича, вдруг получил повеление следовать обратно во Владимир-Волынский...»

Так, с известным опозданием, обусловленным исторической и военной обстановкой, о которой тут уже говорено, для прадедушки началось участие в Отечественной войне 1812 года, которым все семейство Бачей очень гордилось.

«Прибытием нашим вопреки желанию поляков сей город спасен от вторичного занятия неприятельского, то есть армии Наполеона».

«На сем пункте, задерживая набег неприятельские, полк наш оставался несколько времени под командой генерала Решикалова 1-го, где в ноябре ночью, перейдя реку Буг, нашел я неприятельские посты в городе Грубешове. Тут были взяты в плен полковник Зубрицкий, несколько офицеров и множество нижних чинов».

(Речь, очевидно, идет о поляках, служивших в войсках Наполеона.)

«Повыше города, в лесу, я заметил, что немалое количество неприятельских войск бросилось на лед, чтобы переправиться через реку. Тотчас схватив неприятельские ружья со штыками и двух казаков Турчанинова 2-го полка, я поспешил к неприятельским войскам, которые; пришедши в робость, Соединились в кучу, провалились и пошли под лед, а оставшиеся 12 человек я захватил в плен и представил генералу».

Этот подвиг тоже остался неизвестен высшему начальству, и награда опять пролетела мимо прадедушки, чего он не мог забыть до самой своей смерти в Скулянах, с чего я и начал эту мою книгу.

А что, не назвать ли ее семейной хроникой или даже романом-хроникой?

Надо подумать.

Будучи неожиданно переброшен со своим Нейшлотским полком с турецкого фронта на север, прадедушка, родившийся в Молдавии или на Украине, что мне в точности неизвестно, но, во всяком случае, привыкший к южной степной природе, к особому причерноморскому миру сухих новороссийских просторов, к скифским курганам, полыни, суховеям, к полосе Черного моря, которая сопровождала его во время турецкой кампании, к Дунаю, к быстрому Пруту, к Серету, где через сто лет пролилось столько русской крови, к очертаниям турецких крепостей, — вдруг попал на север, в густые хвойные леса левого фланга русской армии, которая уже приступила к окончательному разгрому наполеоновских дивизий.

Прадедушка опоздал к Бородину и пожару Москвы, к Тарутину, к Малоярославцу...

Когда он со своим Нейшлотским полком появился на театре военных действий Отечественной войны, то центр армии Наполеона, или так называемая Великая Армия, Grande Armée, был уже почти разгромлен и Наполеон начал свое ужасное отступление.

В ноябре наступили холода, речки замерзли, что дало возможность прадедушке потопить неприятельский отряд, провалившийся под лед: как бы некое преддверие Березины.

Через сто с лишним лет после прадедушки нечто подобное повторилось со мной с той лишь разницей, что я начал свою войну, попавши с юга на север, а закончил ее на юге, на Румынском фронте, в предгорьях Карпат, на походных носилках, с бедром, пробитым навывлет осколком немецкой бризантной гранаты, а прадедушка начал свою войну на юге, потом попал на север и в конце концов получил под Гамбургом четырнадцать ранений. Если же к этому столетию прибавить еще лет шестьдесят до сего дня, когда я на старости лет взялся за свою семейную хронику, то получится лет полтораста, если не больше, цифра настолько почтенная, что ничего нет удивительного в том, что я принужден пренебречь всякой хронологией, а писать по завету Льва Толстого — «как вспомнится», или даже еще лучше по-своему — «как представится».

Сейчас, когда я пишу и переписываю эти строки, мне представляются глухие белорусские леса, куда я попал в крещенские морозы мальчишкой-вольноопределяющимся, в чем-то повторив молодость своих деда и прадеда.

Красота еще никогда не виданной мною русской северной природы, ее сверкающей зимы, запах смолистых елей, заваленных высокими сугробами, имеющих вид как бы одетых в тулупы, несказанно восхитили меня, я чувствовал себя в некотором сказочном царстве, и на поздней утренней заре, когда в апельсинном низу, но все еще темном вверху небе гаснут последние звезды, а по мелколосью хрустально потрескивает двадцатиградусный мороз, и первые дымы встают столбами над трубами белорусских халуп, и в лиловом зените тает осколок ледяного месяца, а я, выскочив без шинели, в одних валенках, умываюсь жестким снегом, — то в эти минуты жизнь казалась мне одинокой и прекрасной до слез, и ни до какой войны не было мне дела, хотя за горизонтом и слышались уже привычные звуки как бы где-то далеко выбиваемых ковров.

Это был ближний тыл. А потом я увидел и передовые позиции: едкий бальзамический дым еловых костров, глубокие землянки-блиндажи в три или даже четыре наката ядерных сосновых бревен, истекающих прозрачной смолой, и в печурке трещат ловко наколотые дрова, а земляные нары, на которых спал наш орудийный расчет, были застланы душистым лапушником и можжевельником с мутно-синими ягодками.

Несмотря на масляную копилку и отблески горящей печурки, в землянке нашей было так темно, что, выбравшись из глубины наверх по земляным ступеням, обшитым свежим тесом, я бывал почти до обморока ослеплен дневным светом — независимо от того, светило ли солнце или небо было покрыто темными тучами.

Рядом с землянкой, наполовину вкопанное в землю, стояло наше орудие — скорострельная трехдьюмовка. Таких орудий в батарее было шесть, и они были выстроены в ряд, по линейке, так называемым параллельным веером.

Наше орудие на первый взгляд немногим отличалось от тех пушек, какие были во времена дедушки и прадедушки: хобот, колеса, зарядный ящик. Но если присмотреться, в нем было много нового и даже новейшего: масляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную прислугу от пуль и осколков, разные поворотные и подъемные механизмы, но главное — оптический прибор прицельного приспособления, или, как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп, в особом стальном ящичке, приделанном к станине орудия, и во время стрельбы вставлявшаяся в гнездо рядом с местом первого номера, то есть наводчика.

Затвор был поршневым и на вид очень массивный и тяжелый, стальной. Но он очень легко открывался — стоило лишь нажать и потянуть на себя рукоятку на пружинке. Тогда открывалась казенная часть ствола, и туда, в зеркально отшлифованное отверстие, надо было вогнать снаряд, который назывался у нас унитарным патроном, так как составлял как бы одно целое с медной гильзой. Потом затвор так же легко закрывался, защелкивался, и для того, чтобы произвести выстрел, следовало дернуть за короткую цепочку, обшитую кожей, что делало ее похожей на сосиску.

Никогда не забуду свой первый выстрел!

Бомбардир-наводчик Ковалев навел орудие, «отметившись» по отдельному дереву в полосе дальнего леса, я открыл затвор черной вороненой стали, вложил в казенную часть длинный и довольно тяжелый унитарный патрон с головкой, поставленной «на удар», достав его предварительно из особого лотка, а потом плавно захлопнул затвор.

Орудийный фейерверкер проверил верность прицела, приложив глаз к окуляру оптического прибора, и дал мне предварительную команду:

— По цели номер семнадцать гранатой — огонь!

Но это еще не значило, что я должен тянуть за сосиску, я должен был дожждаться окончательной команды «первое».

— Первое! — крикнул орудийный фейерверкер, записывая что-то в записную книжку в клеенчатом переплете.

«Первое» — это был номер нашего орудия.

Со страхом, даже с ужасом я взялся за кожаную сосиску спускового устройства и, зажмурившись, изо всех сил дернул. В тот же миг из дула вылетел лоскут красного огня, но звук оказался не столь оглушительным, как я представлял: не басовитый, барабанный, а скорее какой-то струнно-сорванный. Одновременно с этим орудие подпрыгнуло и ствол отскочил назад, чуть не ударив замком мою руку. Потом масляный компрессор не торопясь, как бы на салазках накатил его на прежнее место. А звук вылетевшего снаряда шарахнул метлой по верхушкам рощи и унесся вдаль, к немецким позициям, все утихая и утихая.

Мои товарищи солдаты, стоявшие вокруг, с добродушным смехом поздравили меня с боевым крещением... а звук снаряда все еще слабо слышался, пока совсем не заглох, и лишь через минуту или две откуда-то издали, из-за синих белорусских лесов, донесся слабый звук разорвавшейся гранаты.

Оказалось, что «мой снаряд» хотя, в общем, и попал по цели номер семнадцать, но в это время там не было «скопления неприятеля» и он разорвался впустую, о чем нам тут же сообщил телефонист, высунувшись из своего окопчика, связанного проводом с наблюдательным пунктом.

Помню мое огорчение по этому поводу. Тогда я не отдавал себе отчета о последствиях попадания моего снаряда по «скоплению неприятеля».

Только сейчас, через шестьдесят лет, мне вдруг однажды бессонной ночью представилось, что было бы, если бы наш снаряд попал куда надо.

...Толпа немецких солдат в серо-синих шинелях и касках в суконных чехлах, стоящих с алюминиевыми манерками возле походной кухни, — и вдруг раздается резкий свист и в самой середине этой толпы

разрывается граната, которую я только что держал в руках: во все стороны летят оторванные ноги в сапогах, руки, котелки, окровавленное тряпье, исковерканные каски, и черное облако вонючего мелинитового дыма застилает всю эту ужасную картину массового убийства, совершенного девятнадцатилетним сентиментальным мальчишкой, поэтом и фантазером, потянувшим за кожаную сосиску за пять верст оттуда.

Сейчас от одной мысли об этом у меня сжимается сердце и чудный солнечный лесной сентябрьский пейзаж меркнет в моих глазах.

А тогда — ничего...

...и война, с которой я начал свою сознательную молодую жизнь, представлялась мне лишь скоплением, как я теперь понимаю, различных незначительных мелочей, казавшихся мне тогда самыми важными в жизни: оловянные колпачки на боевых головках наших снарядов, которые, перед тем как зарядить орудие, следовало снять, потому что они охраняли дистанционную трубку, поставленную на картечь с красной печатной буквой «к.»; серповидный особый ключ с двумя шпеньками для установки кольца дистанционной трубки на заданное расстояние: стреляная гильза, которая после выстрела выползала из казенной части орудия, горячая, дымящаяся, покрытая зеленоватым маслом, и падала на землю с музыкальным бронзовым звоном; оптический прибор прицела, повернутый назад и отражающий в своем зеркале синеватый вдалеке лес... Меня радовали новые сапоги, полученные у каптенармуса в обозе второго разряда, и гречневая каша, специально оставленная от обеда, которую мы подогревали на ужин, накрошив в нее луку и кусочки мясных порций, сбереженных от того же обеда. А как радовали меня письма от знакомых барышень, каким влюбленным героем казался я тогда сам себе. А как я гордился большим кинжалом, так называемым бебутом — неперменной принадлежностью каждого артиллерийского канонира, — а также тяжелым солдатским наганом в кожаной кобуре...

Все вокруг волновало и радовало меня и было в то же время как бы подернуто легкой, прелестной, беспричинной грустью молодости. Что же касается снарядов, которые время от времени выпускала наша батарея куда-то в неведомую даль, то это меня беспокоило меньше всего, если даже оказывалось, что стрельба была удачной и наши гранаты разрывались в немецких окопах или наши шрапнели, разрываясь в воздухе, косили на марше немецкие колонны, не успевшие укрыться от нашего беглого огня.

Я не представлял себе немецкие трупы на снегу, так же как, вероятно, мой молодой лихой прадед, сто лет назад где-то в этих местах пустив под лед скопление французов, не представлял себе всего значения того, что он наделал, а видел только живописную картину: ставшие дыбом льдины с сапфирно-синими изломами, крики ужаса, французские кивера, плывущие по черной воде, смятение, серое низкое небо над замерзшими лесами...

...все это, я думаю, прошло, как-то не затронув воображения прадедушки. Душа его ликовала, когда он гнал пленных представлять их генералу в надежде получить за свой подвиг «георгия». Однако его надежды не сбылись. Ему не везло на ордена. Только это, может быть, по-настоящему огорчало его. А то, что живые люди, хотя и французы, пошли под лед и захлебывались в черной зимней воде среди течения, которое куда-то волокло их мертвые тела с обвисшими усами и сиреневыми лицами утопленников, — это, наверное, тогда пролетало мимо его сознания, в чем и заключался весь ужас войны, который я стал понимать лишь сравнительно недавно.

Может быть, и прадед, умирая в Скулянах, понял весь ужас того, что он делал...

...Можно ли примириться с ужасами войны, которая ни на один день не прекращается на земном шаре, — то в одном месте, то в другом, то почти незаметно, тлея как подземный пожар, то вдруг вставая багровыми облаками до самых звезд...

А в молодости — что? Смерть? Ну и черт с ней! Какая чепуха. Не стоит внимания.

«22 декабря корпус наш состоял под командой генерала Мусина-Пушкина, который имел квартиру во Владимире-Волынском, — продолжает прадедушка свои записки. — Генерал отрядил полковника Баллу с Нейшлотским, Пензенским, Саратовским пехотными полками, 43-й егерской батареей ротой полковника Х. и легкой при полках артиллерией, двумя донскими и частью Переяславского конно-егерского полка за границу».

Это уже был полный разгром Наполеона. Не повезло прадеду: он едва поспел к шапочному разбору. А то, что он до этого не за страх, а за совесть воевал с турками, при звуках победных фанфар Двенадцатого года было забыто, и награды опять пролетели мимо.

Приходилось всего лишь добивать разрозненные части бегущего неприятеля.

И все это происходило примерно в тех же самых местах, где в 1916 году воевал с немцами я.

Дух прадеда моего как бы носился среди этих дремучих лесов на стыке Белоруссии, Литвы и Польши, где на перекрестках еще можно было увидеть распятие, а в хвойной чаще вдруг на поляне показывалась то «рыбья косточка костела, то православной церкви просфора».

...И почту еще, как при деде и прадеде, возили в этих глухих местах на тройках с колокольчиком почтальоны в тулупах, вооруженные против разбойников саблями и пистолетами...

Сидя по вечерам в глубине своей землянки, орудийцы нередко вспоминали давно бытующие в народе рассказы о нашествии Наполеона в достославном 1812 году. Наши позиции между Минском и Вильно, под Сморгонью как раз находились близ того самого тракта, по которому на легких саночках, окруженный конным конвоем, завернувшись в меховой плащ, и уже не в знаменитой своей треуголке, а в собольей шапке с опущенными ушами бежал из России властелин полумира и где его чуть не захватили в плен казаки.

Мне даже не надо было представлять себе ту далекую зиму и то шоссе. Я видел его каждый день: громадные березы, синеющие в дыму метелей, и густой ельник, в снежной чаще которого мерещились мне оранжевые тулупы партизан, их самодельные копья, косы и вилы и кудлатая голова сизовато-красного курносого Дениса Давыдова, тоже в мужицком тулупе, с образом Христа-спасителя на груди.

Часто мы пели хором известную песню «Шумел, горел пожар московский», с особенным чувством упирая на горькие слова Наполеона: «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках?»

И при малюсеньком огоньке коптилки мы представляли Бородинский бой, московский пожар, кремлевскую стену, где среди дыма и пламени стояла маленькая фигурка в белом жилете и сером сюртуке, и гибель Великой Армии среди бесконечных снегов и тех самых лесов, которые окружали нас.

На мотив все той же «Шумел, горел пожар московский» наши орудийцы пели также неизвестно кем сложенную песню: «Шумел, горел лес Августовский: то было дело в сентябре: мы шли из Пруссии восточной, за нами герман по пятам».

Это были горькие воспоминания о страшном поражении царской армии в Мазурских болотах, о гибели двух корпусов — Самсонова и Рененкампа.

В песне этой упоминалось также о подвиге, совершенном нашим полубатарейным командиром поручиком Тесленко, щуплым офицером с веснушчатым незначительным личиком — «из простых», — пользовавшимся огромной любовью у солдат: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал: „Не сдамся никогда!“ ...» — и т. д.

В чем заключался его подвиг во время отступления через Августовские леса, я не знал, так как прибыл в часть после этого отступления, когда наша армия уже остановилась и заняла прочные позиции.

В этих местах наша батарея стояла, лишь изредка меняя позиции, всю бесконечно длинную зиму, а потом прелестную белорусскую весну с ее мартовскими туманами, капелью, падающей дождем с длинных ветвей берез, и березовым соком, который мы, просверлив столетние, «кутузовские» бело-черные стволы и вставив бузиновые трубочки, собирали в котелки и с наслаждением пили эту свежую, прозрачную, как слеза, слегка душистую и чуть-чуть сладковатую воду.

Все березы были обвешаны солдатскими котелками.

Стояли мы здесь также почти все лето, незабываемое «лето под Сморгонью», когда спокойная зимняя жизнь с редкими перестрелками кончилась и несколько раз нам пришлось участвовать в тяжелых боях.

...Глухая ночь. Далеко вправо бой. Еловый лес пылает, как солома. Ночная тишь разбужена пальбой, похожей на далекий рокот грома. Ночной пожар зловещий отблеск льет. И в шуме боя, четкий и печальный, стучит, как швейная машинка, пулемет и строчит саван погребальный...

...Ночь прошла тревожно и тоскливо, где-то справа за холмом гремело, а наутро луг, и лес, и нива — все в росе курилось и блестело. Бой умолк, но старые березы, наклоняясь длинными ветвями, у дороги проливали слезы над простыми серыми крестами...

Были кресты не только прошлогодние, серые, но также и совсем новые, желтевшие свежей древесиной.

Но были также и совсем древние, каменные, замшелые, сохранившиеся, вероятно, еще с прадедовских времен.

Выходя иногда на свет божий из землянки, если было затишье, любил я бродить вдоль «кутузовских» берез и в молодом ельничке, и мне казалось, что в это время в меня вселяется душа моих предков Бачеев — деда, прадеда — русских офицеров, в течение нескольких столетий и в разных местах сражавшихся за Россию, за ее целостность, за ее славу, за Черное море, за Кавказ...

...как странно движется время, если только оно действительно существует, в чем я иногда и сомневаюсь, — в разные стороны!

А ведь был еще и прапрадед, отец прадедушки Бачея, о котором не осталось никаких сведений, кроме того, что его звали Алексеем и он был полтавским дворянином. Но следов его жизни мне не удалось найти.

Как я уже упоминал, по семейным преданиям и судя по фамилии и по историческим обстоятельствам того времени в Малороссии, прапрадед мой был запорожцем, одним из полковников славной Запорожской Сечи, охранявшей границы нашей родины на юге и на западе от польской шляхты, от турок и от крымских татар, о чем уже написано историками.

Когда Запорожская Сечь была уничтожена Екатериной, то запорожские полковники получили земли и стали оседлыми помещиками.

Во всяком случае, мой прапрадед Алексей Бачей не принадлежал к тем сечевикам, которые после уничтожения Сечи бежали за Дунай и отложились от России, а остался верен своей родине.

Все Бачеи были военные.

Не следует забывать, что я Бачей лишь с материнской стороны. Со стороны отцовской я происхожу из вятского духовного сословия. Значит, во мне странным образом соединилось южное и северное, вятское и скулянское, военное и духовное, даже запорожское и новгородское, так как вятские Катаевы были выходцами из Новгорода, а их предки по преданию принадлежали к ушкуйникам. Все это странным образом соединилось во мне и наложило отпечаток на весь мой характер.

Впрочем, в дореволюционное время и священники зачастую участвовали в войнах и даже были награждаемы боевыми наградами — наперсными крестами на орденских лентах. У папы в комодке я видел два подобных наперсных креста, принадлежавших: один моему вятскому дедушке, а другой, по-видимому, его отцу, то есть моему прадедушке, тоже священнику, который, видимо, участвовал в одной из турецких кампаний в качестве полкового священника.

Теперь, подобно своему деду и прадеду, я считаю вполне уместным предаться своим военным воспоминаниям.

У нас на батарее под Сморгонью служил бомбардир-наводчик Ковалев. Это был молодой исправный солдат родом из Таврической губернии, по-крымски смуглый, с карими, девичьи-нежными глазами и черными, закрученными вверх усиками. Он был ласковый, добрый и славился на всю бригаду как один из лучших наводчиков, содержа и себя, и свое орудие в образцовой чистоте и порядке; товарищи его любили, и даже наш строгий пожилой фельдфебель подпрапорщик Ткаченко, который никому не давал спуска и смотрел на своих подчиненных волком, — даже он изредка выказывал Ковалеву некоторую начальственную благосклонность: подойдет, бывало, к Ковалеву, похлопает ладонью по погону и спросит:

— А скажи мне, Ковалев Ваня, какой губернский город, например, в Херсонской губернии?

— Херсон, господин подпрапорщик.

— Верно. Молодец. А в Екатеринославской?

— Екатеринослав, господин подпрапорщик.

— Так. А в Полтавской?

— Полтава, господин подпрапорщик.

— Опять молодец, Ваня. А теперь скажи мне, какой ты сам губернии?

— Таврической, господин подпрапорщик.

— Хорошо. А какой в вашей Таврической губернии губернский город?

— Симферополь, господин подпрапорщик.

— Мне это очень странно, Ковалев: губерния Таврическая, а губернский город — Симферополь?

— Так точно, господин подпрапорщик.

— Вот тебе и раз! У всех губерний как у губерний, а у тебя губерния Таврическая, а город — Симферополь?

Ковалев густо краснел, переминаясь с ноги на ногу, но продолжал держать руки по швам и молчал.

— Куда ж ты свой губернский город девал? Профукал? Не похвалю я тебя, Ковалев, за это. Слышите, друзья? — обращался Ткаченко к присутствовавшим при сем батарейцам, сановно поглаживая себя по довольно большому животу. — Оказывается, наш Ковалев профукал свой губернский город.

Видя, что начальство в хорошем настроении, солдаты охотно поддерживали его шутку и со своей стороны начинали донимать Ковалева расспросами, каким образом ему удалось профукал свой родной губернский город.

Читатель, конечно, догадывается, что вместо слова «профукал» было употреблено другое слово из неисчерпаемых запасов великого и свободного русского языка.

С течением времени за Ковалевым утвердилось слава как за человеком, профукавшим свой губернский город.

На пасху я уезжал в отпуск на неделю, и, как водится, мои товарищи по оружию надавали мне разных поручений — привезти из тыла кому четверку легкого табачку, кому курительной бумаги, кому чернильный карандаш и т. д.

Перед тем как я собрался влезть в батарейную двуколку, чтобы ехать на станцию Залесье, ко мне смущенно подошел как-то боком Ковалев и, отведя меня в сторону, попросил привезти ему «одну вещь»... он несколько помялся, а именно: медаль в честь трехсотлетия дома Романовых. Я был удивлен, так как до сих пор не знал о существовании такой медали: у нас в армии ее никто не носил. Заметив мое удивление, Ковалев тихим, ласковым голосом объяснил мне, что все солдаты, проходившие действительную службу в 1913 году, имеют право носить юбилейную медаль и что эти медали продаются везде и стоят семьдесят пять копеек штука вместе с колодкой и ленточкой.

— Сделайте мне такое одолжение, — умоляющим голосом просил Ковалев, заливаясь девичьим румянцем. — Не откажите, Валентин!

На батарее меня впервые в жизни называли по имени-отчеству — Валентином Петровичем, или, более официально, господином вольноопределяющимся, но в минуты особого расположения просто Валентином.

Ковалев даже полез в узкий карман своих черных артиллерийских шаровар за кошельком, но я его пристыдил и влез в телефонную двуколку, а через неделю вернулся и вручил Ковалеву небольшой сверточек, завернутый в розовую папиросную бумагу, который он проворно спрятал в нагрудный карманчик своей аккуратной гимнастерки так, чтобы никто не заметил. Несмотря на всю свою радость, он все же был чем-то смущен.

Я никак не предполагал, что при всей его скромности, у Ковалева есть тайная страстишка к наградам!

Впрочем, его можно было понять. Он был одним из лучших наводчиков, воевал с первых дней войны, совершил вместе со своим оружием легендарное отступление с тяжелыми боями через Августовский лес, но до сих пор еще почему-то не был награжден Георгиевским крестом, хотя несколько наших наводчиков уже носили на груди этот такой скромный и вместе с тем такой значительный крестик из литого серебра, на черно-оранжевой ленточке, дающий солдату, кроме славы, еще три рубля ежемесячной пенсии, что также имело немалое значение.

В один прекрасный день Ковалев, покопавшись в углу землянки, вылез наверх на солнышко к своему оружию для того, чтобы проверить, все ли брезентовые чехлы на затворе и на конце оружейного ствола в

порядке. На его груди блестела позолоченная юбилейная медаль на оранжевой романовской ленточке. На лице Ковалева было написано скромное удовольствие с оттенком легкой тревоги.

Орудийцы, гревшиеся на весеннем солнышке возле своей трехдюймовки, так и ахнули.

— А что, хороша штучка? — хвастливо сказал Ковалев, подбрасывая ладонью медаль, где на одной стороне был изображен первый Романов, Михаил, в большой шапке Мономаха, из-под которой виднелось маленькое, почти детское личико, а на другой — профиль ныне царствующего государя императора Николая II, тоже Романова, но, как вскоре оказалось, последнего.

Сначала орудийцы как бы онемели, не отрывая глаз от груди Ковалева. Затем они стали переглядываться и перемигиваться, и во время этого молчаливого переглядывания и перемигивания как бы сложилось общественное мнение относительно этого чрезвычайного события.

Тот, кто побывал на военной службе и жил среди солдат, тот знает, что значит солдатское общественное мнение и что значит сделаться в глазах солдат посмешищем, мишенью простодушных шуток, иносказаний и подковырок.

В один миг Ковалев стал посмешищем батареи. А это — не дай бог! Ковалев никак не ожидал, что его невинное честолюбие вызовет столь бурный отклик у товарищей. Он не принял в расчет, что почти все орудийцы были его «годками», то есть одного призывного возраста, и проходили действительную службу в злополучном 1913 юбилейном году, а стало быть, так же, как и Ковалев, имели право на романовскую медаль, однако почему-то не воспользовались этим правом.

Не стану описывать всех мук, которые претерпел Ковалев, выслушивая замечания своих товарищей.

Даже самый близкий друг Ковалева бомбардир Прокоша Колыхаев, бывший рыбак с Голой Пристани в Херсоне, повернулся к Ковалеву спиной, нагнулся и непристойно хлопнул себя по заду как бы в виде салюта в честь юбилейной медали.

Что касается фельдфебеля Ткаченко, то он дипломатично делал вид, что не замечает медали, но при этом не без ехидства шевелил своими фельдфебельскими усами и от сдерживаемого смеха наливался кровью, отчего его щеки приобретали каленый цвет медных пятак.

— Скажи мне, Ваня, ты и до ветру теперь будешь ходить в таком виде?

Эта пытка продолжалась несколько дней и кончилась тем, что однажды на рассвете, когда все орудийцы еще спали и лишь один я с обнаженным бебутом выстаивал свое ночное дежурство у зачехленного орудия, Ковалев босиком выбрался из землянки и прокрался к новому колодцу, который так отлично соорудили для нас дивизионные саперы недалеко от мачты, где еще светился зажженный на ночь фонарик «точки отметки».

Солнце уже чувствовалось за горизонтом, разгоняя ночные тени, и огонек фонарика почти полностью был поглощен приливающим светом весенней зари.

Я прикорнул на лафете и видел, как Ковалев наклонился над колодцем и бросил в него медаль, которая, блеснув в первом луче восходящего солнца, канула в темную глубину, унося с собой двух русских царей Романовых — первого и последнего, с аккуратным косым пробором, выпуклым затылком и небольшой окладистой бородкой под усами, со странной, непонятной полусмешкой.

Вот что произошло через сто лет после того, как в этих же местах воевал мой прадед.

«...сей отряд, — продолжает он свои записки, — без всякого сопротивления неприятельского занял город Грубешов, где я, будучи поручиком и полковым адъютантом, исправлял должность плац-адъютанта, квартирмейстера для всего отряда и заведовал всеми передовыми постами, резервами и нарядами, не упуская также наблюдения за неприятельским движением, имея на то шпионами проворнейших местечковых жидочков с выплатою им хорошего жалованья из контрибуционной суммы...»

Значит, сверх всего прадед занимался тем, что в наше время называется агентурной разведкой или даже контрразведкой, расплачиваясь со своими шпионами из «контрибуционных сумм», как он деликатно выразился, то есть из денег, взятых в казначействах неприятеля.

Представляю себе нечто гоголевское: местечковый житель Янкель, в лапсердаке, в белых носках наружу,

с рыжими пейсами, ни жив ни мертв стоит перед лихим поручиком с раздутыми от гнева ноздрями, который, стуча рукояткой пистолета по столу, чеканит ему сквозь стиснутые зубы:

— Так вот что я тебе скажу: или ты мне за одну ночь разведаете и доложишь, где ночует французский арьергард, и тогда получишь в звонкой монете сотню польских золотых, или я тебя вздерну на первой сосне. Понял что я тебе сказал?

— Понял, пан офицер... зачем же не понял? Еще и солнышко на небо не взойдет, как я вашему высокому благородию шановному пану коменданту доложу всю диспозицию.

— Ну так ступай. И помни, я не шучу. Пшел!

«Посредством сих шпионов я, открыв движение неприятельских войск от Красного на правый наш фланг, доложил о сем шефу полка г. Балле: посему сделано распоряжение подвинуть войска от Красного для занятия Грубешова; с прочими войсками и 24 орудиями г. Балла с 8 на 9 генваря 1813 года двинулся к местечку Уханы, послав подполковника Турчанинова 2-го с казачьими полками с правой стороны, а меня с сотней казаков по прямой дороге, имея наблюдение впереди левого нашего фланга; на дороге я встретил неприятельский бикет и взял в плен одного офицера и семь человек рядовых близ местечка Уханы. Узнав от пленных, что неприятельские силы под командованием полковника Жувье с 12 орудиями в местечке Вусковичи, то есть в 8 верстах от нас, я дал о сем знать Балле, просив его как можно скорее поспешить с отрядом к м. Уханы. До прибытия его я оставил преследование бегущих бикетов неприятеля и подвигался скрытно к м. Уханы, оставив при отряде Платова 5-го полка хорунжего Карпова для того, чтобы на рассвете он дал мне знать, в коль далеком расстоянии будет находиться мой отряд на марше не далее от меня двух верст. Я схватил еще двух пленных и вторично послал Карпова доложить г. Балле, что силы неприятельские весьма слабы и чтобы он, сдвинув все войска в густую колонну, поспешно следовал прямо в местечко, предваряя, что именем его, г. Баллы, я послал приказание Турчанинову обойти скрытно м. Уханы и стать с фланга, дабы действовать напротив неприятеля. Сам я решил на рассвете открыть силы неприятельские».

«Видя впереди местечка неприятельскую кавалерию, я повел перепалку в надежде, что Турчанинов, отрезав неприятеля, нанесет ему решительный удар, но вместо этого вышло противное: г. Балла позади меня в полуверсте развернул из густой колонны фронт, открыл канонаду с батарейных орудий; неприятель, увидя наши силы, тотчас пошел ретироваться...»

«Я, будучи в недоумении, послал Карпова доложить Балле сими словами:

— Уж нечего трусить. Неприятель бежал».

«...а видя в местечке суматоху и горя неудовольствием, сам поехал к отряду, застал его еще на месте и лично повторил Балле прямо в лицо вышеизложенные слова и получил в ответ:

— Стыдно, срамец, в публике это говорить!»

«За всем тем я просил послать стрелков из егерей бегом в местечко, что и было исполнено; сам же я с сотнею казаков ударил на неприятельскую кавалерию, схватил в плен 13 человек, а прочие присоединились к ретирующейся пехоте; между тем я, услышав с левой стороны залп, а потом батальный огонь, поспешил на место — и что же? 43-го егерского полка штабс-капитан Михайловский с его ротой егерей настиг было неприятеля, выходящего из местечка, иногда неприятель сделал по нем залп и повел батальный огонь, то сей храбрый офицер с своею ротою лег на косогоре. В таком положении я, заставши его, пристыдил и сам поскакал вперед на открытое место, где, глядя во все стороны на пять верст, увидел весьма много побросанных вещей и экипажей и ретирующегося неприятеля по глубокому снегу в двух густых колоннах числом до четырех тысяч; не видя нигде Турчанинова, я послал моего бессменного вестового Платова 5-го полка храброго казака Полякова, с тем чтобы отыскать Турчанинова, велел ему повести на изнуренного неприятеля атаку или, по крайней мере, показаться бы из леса и так привести неприятеля в большую робость».

«Тут полковник Балла со всем отрядом и артиллерией вышел из местечка. Увидя неприятеля в вышеописанном положении за три версты впереди и меня с сотней казаков, преследующего оногo, прислал 43-го егерского полка поручика Н. сказать мне, чтобы я как можно старался не допустить неприятеля в лес. Я в ответ просил офицера доложить Балле, что пусть он сам уже удерживает тогда, когда по трусости выпустил неприятеля из местечка».

«Но за всем тем я с моею сотнею бросился на тех и отрезал 24 человека».

«Итак, я довольствовался тем, что, не видя Турчанинова с кавалерией, преследовал неприятеля по следам его в глубоком снегу, а видя, что неприятель начал скрываться в лес, я уверил моих казаков, что у неприятеля ружья не заряжены, и повел их в атаку с тыла. Тут неприятель начал передо мною стлаться по снегу, как будто по белым пуховикам; здесь я взял более 100 человек в плен...»

«...и вдруг из леса последовал залп, от которого я потерял два человека убитыми и несколько ранеными; тогда я отправил пленных к отряду, сам выскочил на дорогу к Красному, где, увидя французского уланского офицера, сбил ему кивер пушечной пулей, а потом плетью через лоб сбил с лошади и взял в плен...»

«Как военную добычу я снял с него богатую лядунку и надел на себя, а его самого отправил к отряду».

«Когда уже не видно было нигде неприятеля, я, собравши еще некоторых пленных, при заходе солнца прибыл в местечко Уханы. Здесь заседал г. Балла и прочие штаб и обер, а вместе с ними и пленные офицеры, при закуске»..

Вероятно, и «при выпивке»

«Тут французский уланский офицер увидел на мне свою лядунку. Так как я был в легкой крестьянской шубе, то он принял меня за простого казака и просил г. Баллу, чтобы я отдал ему лядунку. Хотя г. Балла и согласился на то, но я ответил, что военная добыча никогда не возвращается, а всегда остается победителю».

«Тут начали меня спрашивать, каким образом я его ранил в лоб, да так, что только снял кожу, тогда как он уверял, что был ранен пулею. Но когда узнали, что я ранил его плетью, оказали к нему презрение, и даже его товарищи французские офицеры сожалели, что он объявил себя раненым, утруждая медиков, ходя на перевязки...»

...встает довольно яркая картина последних дней так называемой Великой Армии Наполеона, едва уносившей ноги по глубоким январским снегам недалеко от местечка Уханы и Красного, то есть примерно там же, где сто лет спустя довелось и мне воевать с немцами. Но какая громадная разница была между войной, описанной прадедом, и войной моей!..

Только то и было общего, что один и тот же неизменный пейзаж: дремучие хвойные леса, поляны, небольшие поля, давно уже заброшенные, заросшие бурьяном, васильками, да кое-где на этих маленьких участках среди засоренной камнями земли — стальные чушки неразорвавшихся снарядов и воронки от бомб.

Во времена прадеда война была маневренная, подвижная, с кавалерийскими атаками, засадами, взятием в плен, сикурсами, военной добычей, густыми колоннами батальонов, дневными переходами, ночными биваками...

...казачьи разъезды с пиками, меховые шапки, кивера, ментики, много лошадей, кареты генералов. Природа вокруг хорошо известная по «Войне и миру». Местами как будто даже нечто вроде ремарок из «Бориса Годунова», например — «корчма на литовской границе»...

Все вокруг меня дышало русской историей. Но люди в мое время были уже другие: тоже русские, тоже воины (ратные люди), но не такие нарядные, заметные, шумные, как в прадедовское время.

Не воины, а просто солдаты.

Да и характеры совсем другие. Такого забияку, рубаку, скандалиста, как мой блаженной памяти прадед, я в армии никогда и не видывал. Офицеры скромные, незаметные, с ног до головы в хаки. Солдаты тоже в защитном: зимой в серых папахах из искусственной нитяной мерлушки. Разве только и выделяются оранжевые револьверные шнуры на шеях артиллерийской прислуги. Войск почти нигде не видно, а их вокруг миллионы: все спрятано, скрыто, замаскировано, зарылось в землю. Даже батарею в двух шагах от себя не заметишь, так она умело закидана еловыми ветками, заставлена срубленными сосенками.

Такое впечатление, что вокруг безлюдье и никакой войны нет.

А война себе идет да идет, позиционная, нудная, все на одном месте — против дальнего леса, за которым где-то, невидимые, тоже окопались немцы со своими гаубицами, пулеметами, газовыми командами. Между нами и немцами «ничейная земля» — разбитый вдребезги город Сморгонь с рыбьей косточкой разрушенного костела. Зимой Сморгонь занесена глубокими снегами, летом — сплошь лиловая от разросшейся, местами

одичавшей махровой сирени, которую наши батарейцы ползают ломать, чтобы громадными букетами, вставленными в стреляные гильзы, украсить свои глубокие темные норы.

Война позиционная. Она может длиться таким образом — от боя до боя — месяцами, годами.

Долгая жизнь в одной землянке превратила нас, орудийную прислугу первого орудия, в дружную семью со своими горестями, радостями, ссорами, примирениями и «разными случаями».

Например, история с Зайцевым.

Он был одним из наших батарейцев, и хотя служил с первого дня войны, то есть уже почти два года, и побывал во многих боях, в том числе в знаменитом отступлении через Августовский лес, но не дослужился даже до бомбардирской лычки и снискал себе славу одного из самых ледащих, ничего не стоящих батарейцев.

Нередко фамилия каким-то странным образом определяет наружность человека. Зайцев не принадлежал к числу таких людей. В нем ничего не было заячьего, кроме разве толстеньких щек. Во всем же остальном он принадлежал к типу довольно плотных красивых русаков с несколько ленивыми глазами и медлительными движениями. Вопреки репутации «последнего человека» он был хорошо грамотен, одевался чисто, исправно умывался и даже чистил зубы, для чего носил за голенищем вместе с обкусанной деревянной ложкой костяную зубную щетку.

Иногда мне казалось, что лентяйство не врожденное чувство Зайцева, а скорее сознательное поведение, имеющее даже как бы характер скрытого протеста против военной службы.

Лентяйничал он чрезвычайно ловко, умело, тайно, так что поймать его на этом было почти невозможно. Он прямым образом не отлынивал от службы, но исполнял ее с особой, виртуозно спрятанной медлительностью, которую трудно было обнаружить.

Дрова по наряду рубил он с неуловимой оттяжкой, патроны подносил к орудию в самом жарком бою не слишком торопясь, во время чистки орудия, когда орудийные номера, взявшись дружно за длинный банник, с усилием вводили круглую щетку, густо смазанную орудийным салом, в канал ствола, Зайцев хотя и держался за банник, но лишь делал вид, что прилагает усилия.

В конце концов его возненавидел фельдфебель и хотя не мог поймать его с поличным, но при каждом подходящем случае посылал на штрафные работы.

Однажды он послал Зайцева копать землянку для нового наблюдательного пункта. Зайцев взял шанцевый инструмент и вместе с двумя плотниками и тремя телефонистами-наблюдателями поплелся к месту работы за три версты от батареи, совсем близко от немцев.

Как он там работал, неизвестно, во среди дня на батарею позвонили с нового наблюдательного пункта, и телефонист, выскочив на свет божий из своего маленького окопчика, сообщил новость, что Зайцев ранен шальной немецкой пулей.

Через некоторое время на батарее появился Зайцев, которого вел батальонный плотник. Рука его была замотана бинтом из индивидуального пакета и висела на поясе, надетом на шею.

Орудийцы окружили Зайцева, но ничего особенного в нем не нашли, лицо его побледнело и выражало нечто вроде высокомерия или, во всяком случае, гордости.

Никаких подробностей относительно обстоятельств ранения от Зайцева добиться было нельзя, так как на все вопросы он отвечал лениво:

— Прилетела и пробила руку.

А появившийся фельдшер добавлял:

— Неизвестно еще, задета кость или не задета.

На батарею приехала санитарная двуколка, и фельдшер увез Зайцева в бригадный околоток, причем фельдфебель Ткаченко не удержался, чтобы не сказать:

— Доигрался!

К вечеру из околотка сообщили, что кость не задета. А через два дня, к общему удивлению, на батарею пришел своим ходом Зайцев с перевязанной рукой, спустился в землянку и улегся на свое место, положив под голову вещевой мешок.

Фельдфебель, обдумав положение, позвал Зайцева к себе и сказал:

— Ну что же, друг, можно-тебя поздравить: походишь дня четыре в околоток на перевязку, а потом, как положено по ранению, поедешь с богом на четырнадцать дней в отпуск. Можно только позавидовать. Скажи спасибо немецкой дуре пуле.

— Никак нет, — сказал Зайцев. — От законного отпуска отказываюсь, а желаю остаться в строю.

У фельдфебеля Ткаченко округлились ястребиные глаза и еще больше побагровели сизые щеки.

— Это еще что за фокусы? — спросил он, нахмурившись.

— Никак нет, господин подпрапорщик, — ответил Зайцев, глядя прямо в лицо фельдфебелю. — Хотя я и ранен в боевой обстановке, но желаю остаться в строю.

Для человека непосвященного отказ Зайцева от законного отпуска должен был показаться по меньшей мере необъяснимым: попасть с фронта в тыл хотя бы на одну недельку было заветной мечтой любого солдата. Но фельдфебель Ткаченко, опытный службист, сразу раскусил Зайцева и еще более нахмурился.

— Ты что же это задумал? — грозно сказал он, напирая на Зайцева своим обширным животом, перетянутым широким офицерским поясом. — Выбрось из головы подобную глупость, а то знаешь... я таких шуток не люблю...

— Никак нет, — упрямо сказал Зайцев. — Будучи ранен, желаю остаться в строю. Имею на это право.

И тут вся батарея поняла замысел Зайцева: каждый раненый нижний чин, оставшийся в строю, награждался знаком военного ордена четвертой степени, то есть солдатским Георгиевским крестом, что, в свою очередь, влекло за собой повышение в воинском звании на одну лычку. Стало быть, Зайцев одним махом получал на грудь крестик, а на погоны бомбардирскую нашивку и из самого ледащего солдата превращался в уважаемую личность, георгиевского кавалера, что помимо всего давало еще ту привилегию, что в случае посадки на гауптвахту его, как георгиевского кавалера, должны были туда вести в сопровождении оркестра военной музыки.

Откуда батарейцы узнали о таком правиле, неизвестно, но в этом все были уверены. Кроме того, среди солдат считалось, что георгиевский кавалер имеет право посещать женские бани.

В этом духе батарея, и обрушилась на Зайцева своими шутками и остротами.

Никто не думал всерьез, что Зайцев метит на георгиевского кавалера.

Были уверены, что Зайцев в конце концов получит отпуск и съездит в тыл, на чем дело и кончится. Однако Зайцев уперся. Встревоженный фельдфебель отправился в офицерский блиндаж, где доложил о положении дел командиру батареи. Тот удивился, пожал плечами и позвонил по телефону Эриксона командиру дивизиона. Командир дивизиона удивился еще больше и позвонил командиру бригады. Командир бригады подумал, потер свою круглую, ежом стриженную седоватую голову и сказал, что если раненый воин желает остаться в строю, то это совсем неплохо, так как показывает боевой дух артиллеристов вверенной ему бригады, и что канонир Зайцев молодец.

Таким образом, судьба Зайцева круто изменилась. Из последнего, самого никудышного солдата он вдруг превратился в героя, и через некоторое время перед выстроенной батареей сам генерал — командир бригады — пришил к груди Зайцева литой серебряный крестик на черно-желтой репсовой ленточке, один лишь цвет которой сразу же придал Зайцеву боевой, молодецкватый вид, а желтая бомбардирская лычка поперек погона со скрещенными пушечками сделала его как бы еще более обстрелянным солдатом, побывавшим во многих сражениях, что, собственно говоря, вполне соответствовало истине.

Как сейчас вижу складную фигуру Зайцева, его гладко заправленную под пояс гимнастерку и на ней знак военного ордена четвертой степени, а невдалеке густой еловый лес, шоссе со столетними березами, пожелтевшими от удушающих газов, которые недавно на нашем участке пускал немец. Было такое

впечатление, что березы эти облиты серной кислотой. Я еще раз пожалел, что снаряд мой не попал тогда по «скоплению неприятеля».

...и потом целый день по шоссе вдоль этих изуродованных берез одна за другой тянулись повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами убитых фосгеном солдат Аккерманского полка, стоявшего перед нашей батареей на передовой...

Может быть, именно где-то тут содрал прадедушка с французского офицера нарядную дорожную лядунку с золотой французской буквой «N», окруженной золотым лавровым венком, — вензель Наполеона.

На этой истории с трофейной лядункой обрываются записки моего прадеда: то ли ему надоело писать, то ли как раз в этот миг пришла смерть, подобно тому как она таким же образом впоследствии прервала записки его сына Вани, моего деда, отставного генерал-майора Бачея, отца моей матери.

К запискам прадеда приложена выписка из его формулярного списка:

«1813 года января 9 числа участвовал в сражении с польскими войсками под местечком Уханы и Вуйсловичем при разбитии и совершенном истреблении оных. Февраля 12-го близ крепости Новое Замостье послан был с казаками для открытия неприятеля и нашел оного в селении Плоскине в числе 4 компаний пехоты, которую истребил и взял в плен 64 человека; марта 7-го при блокаде крепости Замостье на разных перестрелках был; того же марта 23-го при штурме неприятельской батареи в сражении и прогнании оной и за оказанные отличия 4 раза рекомендован начальству, но как и за прежние два раза, так равно и за сии не получил никакого награждения».

Понятно, почему прадедушке так не везло с наградами. У него был неуживчивый, заносчивый нрав. Он всем насолил и порядочно надоел начальству. По-видимому, это наследственное: по себе знаю.

«...того же года августа с 19-го в Пруссии, сентября с 9-го в австрийском владении, через Богемию 26-го, в Саксонии 27-го, в сражении при местечке Дале и в селении Гайтнахе со стрелками; октября 5, 13, 14, 17 чисел при городе Дрездене против французских войск и с того 17-го и по декабрь при блокаде и покорении того же города, а оттоль через Мекленбургские, Голштинские владения и голландские владения через Ганноверию декабря с 13-го в Дацком королевстве, при блокаде и до покорения города Гамбурга находился, где 1814 года января 1-го по 28 число был в действительных сражениях и при занятии неприятельских укреплений и за оказанные отличия награжден орденом Владимира 4 степени с бантом...»

Наконец-то!

«...а оттоль того же года декабря с 10-го обратно через Ганноверию, Мекленбургскую и герцогство Варшавское 1815 года февраля по 21-е, а с 21-го — в пределы России...»

«1818 года февраля в 10 день по Высочайшему Его Императорского Величества приказу за ранения уволен от службы капитаном с мундиром».

В заветном особом портфеле, в котором хранились записки как прадеда, так и деда, имелась еще записка, сделанная рукою одной из моих теток, сестер матери:

«Во многих сражениях он и раньше бывал ранен и контужен, но раны, полученные им под Гамбургом, оказались настолько серьезны, что продолжать военную службу уже не мог и должен был выйти в отставку. В то время как наши войска совершали свое победное шествие к самому сердцу Франции, дед, мучимый тяжкими ранами (их было 14), лежал в доме гамбургского пастора Крегера, где за ним самоотверженно ухаживала юная дочь пастора Марихен. Через несколько месяцев дед оправился и 10 декабря 1814 года выехал в Россию, в свое имение в Скулянах, с молодой женой».

На этом кончаются все известия о моем прадеде с материнской стороны.

Возможно, что на том самом месте в Скулянах, где в прошлом веке стоял ныне давно уже не существующий большой дом прадедушки, теперь построен скромный, молдавского типа деревенский домик, где помещается управление процветающего скулянского совхоза, обставленное по фасаду статистическими диаграммами, лозунгом «Миру — мир!» и на двух столбах большим панно, на котором кистью неизвестного скулянского живописца изображены охрой три громадных лица — Маркса, Энгельса и Ленина.

Здесь мы попрощались с молодым человеком, директором совхоза, выразившим сожаление, что мы не

нашли никаких следов бывшего имения прадедушки — ни барского дома, ни пяти фруктовых садов, ни пруда, ни ветряных мельниц, сгоревших при наступлении советских войск на Яссы во время Великой Отечественной войны, — ровно ничего, кроме, как я уже упоминал, чудом сохранившейся еще с петровских времен церковки и кладбища вокруг нее, где среди изъеденных временем и глубоко ушедших в землю, заросших мхом, полынью и бессмертниками могильных плит со стертыми, почерневшими надписями на русском, старославянском, латинском, молдавском и еще каком-то непонятном языках есть и могила моего прадеда, отставного капитана Елисея Алексеевича Бачея, разыскивая которую, я еще неясно и первоначально представил в своем воображении все то, что написано в этой книге.

...и чашку крепкого сладкого чая с красным ямайским ромом...

1973–1975 гг.

Переделкино.

ОБЛИКИ ВРЕМЕНИ

Перед нами новое, необычное по своему жанру произведение Валентина Катаева «Кладбище в Скулянах». В основе его — дневники двух офицеров русской армии прошлого века, деда и прадеда писателя.

Чем же заинтересовали В. Катаева мемуары его предков? Что нашел он в их безыскусных записях?

«Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа». Эти слова Пушкина, которые приводит автор, характеризуют не столько записки самих Бачеев — капитана Елисея Алексеевича и генерала Ивана Елисеевича, — сколько задачу, поставленную писателем. Главное для него: показать движение и осуществление истории через жизнь и судьбу этих людей, раскрыть ту историческую преемственность, что связывает участников русско-турецких кампаний и Отечественной войны 1812 года с их потомком — прапорщиком в первую мировую войну, командиром красной батареи в гражданскую и военным корреспондентом в Великую Отечественную.

Эта преемственность воспринимается и понимается В. Катаевым не только как историческая, но и как генетическая. Писателя пронзает ощущение неотделимости его бытия от бытия его предков, взаимопроникновения их существований, словно бы правнук уже был в прадеде, а прадед претворился в правнука. Отсюда и столь необычные описания похорон, данные от лица и через восприятие уже умерших, но неостановимо продолжающих мыслить и чувствовать людей.

На первый взгляд может показаться, что от этих сцен веет мистикой. Но, вчитавшись в них повнимательней, начинаешь догадываться, что это не мистика, а художественный прием, подчеркивающий достоверность изображаемых событий. Более того, этот прием по-своему раскрывает традиционную идею человеческого бессмертия: как бы стирая грань между рождением и смертью, он включает индивидуальную жизнь в бесконечную цепь поколений, продолжающих дело предков. В этом и состоит смысл авторских рассуждений о «странном нечеловеческом сознании», в котором заключено «нескончаемое прошлое, настоящее и нескончаемое будущее», и о том, что человеческое существование не имеет ни начала, ни конца.

Стоит, однако, учесть, что в новом произведении В. Катаева лирико-философское начало постоянно соседствует с насмешливой и тонкой иронией. И не только соседствует, но и сливается с ней так органично, что порою не различить, где одно переходит в другое. Автор зачастую подсмеивается даже над собственными предками — исправными служаками, честно исполняющими воинский долг, но чрезвычайно далекими от передовых идей своего века.

Особый же смысл сочетание иронического и философского начал приобретает тогда, когда речь заходит о времени и о субъективном его восприятии. Писатель настойчиво обращает наше внимание на те места в записках деда, где так или иначе отмечается характер течения времени. В дедовском восприятии время то тянется, то летит, но во всех случаях проходит незаметно, — последнее обстоятельство особенно радует Ивана Елисеевича. Дни и годы идут для него — пленника быстрого или медленного движения времени — без остановки и без существенных изменений, рождая в душе ощущение гармонии, устойчивости и постоянства жизненного уклада. И только потрясая русское общество героическая борьба революционеров-народовольцев и убийство ими Александра II наносят удар по этой иллюзии размеренного и

упорядоченного бытия. «Не дай бог дожить еще до такого времени...» — вот последняя строка из воспоминаний отставного генерала, которые он дописывал уже в 1901 году, накануне еще более мощного революционного подъема. И быть может, высказывает предположение писатель, ужас перед этим новым, непривычным и суровым обликом времени, несущего революционную бурю, оборвал воспоминания деда и погасил его сознание.

Порою может показаться, что катаевская ирония направлена не только на дедовские, но и на наши представления о времени. Писатель, как бы поддразнивая нас, или уверяет, что время движется в разные стороны, или же заявляет, что вообще сомневается в его существовании. Такое построение «семейной хроники», когда время действия — вопреки традициям и общепринятой логике — то отодвигается назад, то переносится на много лет вперед, отнюдь не писательский произвол и даже не только художественный прием, а нечто органически связанное с основной идеей произведения — с той идеей исторической и генетической преемственности поколений, о которой мы уже говорили.

Пренебрегая хронологической последовательностью своих семейных преданий, В. Катаев от воспоминаний деда переходит к воспоминаниям прадеда. Обращая время вспять, он идет по его руслу все дальше и дальше в прошлое своего рода и, в то же время, все чаще отдается собственным переживаниям и воспоминаниям. Подлинные записи деда и прадеда, зримые картины минувшего, воссоздаваемые В. Катаевым, то и дело перемежаются с размышлениями об историческом смысле тех событий, в которых участвовали его предки, о судьбе и долге рода Бачей, связанного с многовековой борьбой русского государства за выход к Черному морю и укрепление южных границ России. Писатель не закрывает глаза на жестокость этой борьбы, но он — в отличие от своих предков — ясно видит и сознает ее неизбежность и даже необходимость. Победа над Турцией открывала России выход в Средиземное море и, следовательно, в мировой океан, а кроме того, освобождала народы Кавказа и Закавказья от власти отсталых восточных деспотий.

«Изучая дедов, узнаем внуков, т. е., изучая предков, узнаем самих себя», — этот афоризм крупнейшего русского историка В. О. Ключевского приходит на память, когда задумываешься над страницами нового катаевского произведения. И становится ясно, что обращение писателя к семейным летописям служит цели самопознания человека через осознание им своей причастности Родине и ее Истории.

С наибольшей силой эта причастность передана в той сцене, где автор, парализованный ужасающим свистом падающей на него авиабомбы и уже считающий себя погибшим, вдруг ощутил не только всю свою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со своими предками, как ближними, так и самыми отдаленными. Каким-то странным внутренним зрением он увидел себя, свою жену и детей на берегу реки Прут, среди горящих карет петровского обоза; он увидел взятие Измаила, штурмовые лестницы, летящие и дымящиеся бомбы; он увидел осаду Гамбурга и бомбардировку Дрездена... И выплыла из глубин подсознания картина кладбища в Скулянах, о котором он тогда не имел ни малейшего представления.

Лишь через тридцать лет суждено было писателю увидеть это кладбище въяве. Среди изъеденных временем и глубоко ушедших в землю надгробных плит с полустершимися надписями он так и не разыскал могил своих предков. Но он обрел их в воспоминаниях, в своем воображении, в самом себе. Память о них продиктовала ему строчки «Кладбища в Скулянах», которое напоминает нам не о бренности земного существования, а о нескончаемости человеческой жизни в делах и памяти потомства. Произведение это призвано пробудить в душах читателей те священные чувства, о которых так проникновенно сказал величайший русский поэт:

Два чувства дивно близки нам — В них обретает сердце пищу — Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. На них основано от века По воле бога самого Самостоянье человека И все величие его.

И пусть читатель, закрывая эту книгу, задумается не только над родословной Бачеев, но и над собственной, пусть почувствует себя связующим звеном в бесконечной цепи поколений, кровью и потом которых создавалась и строилась наша Родина, и ощутит свою ответственность перед ними и перед потомками.

МСТИСЛАВ КОЗЬМИН